ДУБРОВИНСКИЙ

В. Прокофьев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги рассказывает об известном революционере большевике Иосифе Федоровиче Дубровинском (1877–1913). В книгу включено большое количество фотографий.

- Вадим Александрович Прокофьев
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Основные даты жизни и деятельности И. Ф. Дубровинского
  - Краткая библиография
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Вадим Александрович Прокофьев Дубровинский

Глава I

В Швейцарии на тюрьмах вывешивают белые флаги, если в узилище нет ни одного заключенного.

Белый флаг – символ капитуляции.

В России над тюрьмами не вывешивают флагов. Даже в дни тезоименитств.

В России в тюрьмах не бывает свободных мест.

Ржаво хрястнул замок. Словно отбил жирную точку в конце короткой биографии. Одиночка в двадцать лет!..

Надзиратель даже не буркнул ожидаемое: «из молодых, да ранний». Молча повернул ключ и неторопливо зашаркал прочь.

Тишина!.. Она навалилась. Оглушила.

Иосиф Дубровинский невольно шагнул к окну. Сквозь грязную паутину прутьев видна тюремная крыша.

На русских тюрьмах не вывешивают флагов. «Тюрьма что могила, всякому есть место».

Вот нашлось и ему. Ужели могила?

Да, так может показаться. В первый день. С непривычки…

А разве можно привыкнуть к тюрьме? Наверное, можно, если народная пословица напоминает: умного ищи в тюрьме, а дурака в попах.

И откуда только эти пословицы? Кружатся в голове все эти месяцы, пока смыкалось кольцо слежки. Обнаглевшие полицейские «пауки» раскланивались с ним по утрам. А проводив на очередной ночлег, загадочно ухмылялись. Они-то знали, что эта ночь может оказаться ой какой неспокойной. И поэтому не прощались.

Дубровинский отвернулся от окна. По рассказам тех, кто уже побывал в одиночках, он знал о меблировке «отдельных номеров царских отелей».

Семь шагов в длину. Четыре в ширину. Железная койка, привинченная к стене. Железный лист, ввинченный в стену. Еще один, железный, поменьше и пониже ввинченный. И в ту же стену вделан и тоже железный – третий – это стол, стул, полка для посуды.

И неизменная в углу параша.

«Умного ищи в тюрьме…»

Здесь, в одиночке? В этой тишине? Тут ум нечем занять. Мозг каждый день праздный. И понемногу начинаешь тупеть. Наверное, на это и надеются те, кто упрятал его сюда.

Пытка одиночеством. Бездельем. Неизвестностью.

Палачи рассчитали точно. У кого слабые нервы, кто не успел

закалить волю, изведутся вконец.

В безмолвии, никем не потревоженные.

Те же, кто силен духом, будут день ото дня растить надежду. Да, да! Надежду! Они утвердятся в мысли, что если их не вызывают, не допрашивают – значит, не хватает улик.

Потом, когда вызовут, слабые, безвольные, будут готовы на все, чтобы избавиться от кошмара одиночки. Сильные, уверовавшие – ослабят внимание. И проговорятся…

Первый день в одиночке – это день метаний мысли. День торопливых шагов. Узник еще не считает часов, дней. Шагов. Он еще не успел осознать, что в тюрьме иной счет времени, иной ритм жизни.

Но он помнит, товарищи говорили о книге. В одиночке книга – это целый мир. Она подымает узника над будничной повседневностью, помогает скоротать вынужденную оторванность от дела, от борьбы, от близких.

И Дубровинский уже готов стучать, требовать книгу. Но через минуту забывает о ней.

Еще не скоро Иосиф получит книги. И не сразу они отвлекут его взгляд от решетки. Пройдет немало дней в метаниях, в тяжелой задумчивости, в мечтах.

Именно в мечтах. Ведь Дубровинскому всего двадцать. И он, наверное, фантазировал, строил планы. Планы побега. Только слабые смиряются с неволей. Сильные не могут не думать о том, как вновь обрести свободу.

И когда уже казалось, что планы, взращенные мечтой, вот-вот вынесут его из стены камеры, ржавый скрип в дверях напоминал о тюрьме. На миг прозревал «волчок». Потом в него вставлялся равнодушный, склеротический глаз. Не мигая, целился в узника, оглядывал решетку. И снова ржаво визжала заслонка.

Глазок поначалу приводил в бешенство. Хотелось подскочить, ударить, выбить это всевидящее, это недремлющее око.

Потом он к нему привыкнет. И не будет оборачиваться на скрип.

Глазки – нововведение. Они появились в российских тюрьмах после того, как в начале 1897 года мученически погибла народоволка Ветрова. Она вылила на себя керосин из лампы. И сгорела в тиши Петропавловской крепости.

Керосиновые лампы, как узников, заточили в железные решетки над дверью камер. В столице, в Доме предварительного заключения, построенном по последнему слову казематской техники, зажглось электричество. А старозаветная Москва все еще продолжала коптить тюремные своды стеариновыми свечами. Керосинового света над дверью камеры хватает лишь для бликов

на потолочной плесени.

У Дубровинского на столе – свеча. Тюремщики экономят на копеечном освещении. И если узник желает читать в декабре, то изволь раскошелиться. А у Дубровинского нет денег. Даже на свечи.

Когда-то на Руси стражи взимали с колодников «влазную деньгу». Теперь – «свечевую».

Иногда так хочется еще и поесть чего-либо человеческого, а не этой тюремной похлебки и сырого тюремного хлеба с кипятком. Говорят, тюремный хлеб горький. Ничего подобного – кислый, словно его замесили на кислых запахах тюремной караулки.

Через нее выводят во двор на прогулку. Самые счастливые двадцать минут за сутки. Декабрьский мороз успевает немного просушить легкие, отсыревшие в камере, и даже серенький зимний денек кажется ярким после вечных сумерек одиночки.

Гуляя, Дубровинский жадно вглядывается в окна тюрьмы. Может быть, там, за этими серыми от грязи, разлинованными решеткой стеклами, мелькнет знакомое лицо товарища? Он ждал этого не с надеждой, скорее со страхом. И не обольщался, зная, что арестован по делу «Рабочего союза» не он один. И все же, если бы увидеть знакомое лицо! Ведь можно помахать рукой и получить в ответ приветствие. Ему так сейчас не хватает простого человеческого общения.

Надзиратели разучились улыбаться. Наверное, им это запрещено тюремным распорядком.

А конвойные – тем не до улыбок. Несчастные, забитые, темные солдаты, они, наверное, забыли, что на свете бывают веселье, смех. Они день и ночь, ночь и день стерегут эти стены, предназначенные для того, чтобы гасить улыбки.

Шли дни, недели…

Нет, нельзя привыкнуть к тюрьме. Можно заставить себя на время не замечать решетку, штык часового, не слышать бренчанья ключей. Можно заставить, но и этому Дубровинскому еще предстояло научиться.

Между тем жандармская машина работала на полный ход. Давно канули в Лету те времена, когда в России только налаживался полицейский сыск, когда места жандармских полковников и ротмистров занимали проштрафившиеся гвардейские хлыщи или бездарные, даже на общем фоне бездарности российской армейщины, отцы командиры. Если где-либо в провинции еще и царили «патриархальные нравы» среди чинов полиции, не пуганной народовольцами, не потревоженной стачками и забастовками, то только не в Москве.

Первопрестольная славилась своими «пауками», «подметками», «филерами». Она «гордилась» своим «охранным отделением».

Царизм, правительство, жандармы были напуганы размахом стачечной борьбы в главных промышленных центрах России середины 90-х годов. Эти стачки и забастовки возникали уже не стихийно, как в предшествующее десятилетие, и это более всего беспокоило власть предержащих. Они уже не были чисто экономическими, а приобретали и политическую окраску.

Сначала тон всему забастовочному движению задавал Петербург. И вскоре департамент полиции уже знал об образовании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», его главных руководителях, его организаторе и идейном вожде Владимире Ульянове. Но полиция не сразу нащупала связи столичной социал-демократической организации с другими городами, другими пролетарскими объединениями.

А между тем тот же Владимир Ульянов положил начало «Рабочему союзу» в Москве. Он же наладил и его связи с петербургской организацией.

«Московский рабочий союз» доставил особенно много хлопот начальнику Московского охранного отделения Зубатову.

Этот искушенный мастер провокаций буквально потерял покой. Испытанные, вернейшие средства подкупа, морального разложения, столь успешно действовавшие в среде молодых народников, студентов, оказались неэффективными в отношении рабочих. А уж кто-кто, а Зубатов-то знал, как нужно провоцировать.

Много слухов ходило по первопрестольной в связи с «блистательной» карьерой этого охранника. Зубатов «прославился» своей букинистической лавочкой на углу Воздвиженки. Этот магазинчик знали многие студенты, адвокаты, учителя. В магазине всегда были в наличии недозволенные цензурой и вовсе бесцензурные антиправительственные издания. Хозяин, он же и продавец, отличался дерзким бесстрашием. Он не только где-то добывал эти опасные книги, но и торговал ими, не прячась, без оглядки. Часто вступал в доверительные беседы с покупателями, рассказывал о своем прошлом, о том, как его за революционную деятельность изгнали не то из гимназии, не то из университета, И удивительно, он не гнался за наживой, распродавал книги, брошюры прямо-таки по бросовым ценам.

И конечно, доверие за доверие, откровенность за откровенность. А через некоторое время в аудиториях институтов, в квартирах врачей и адвокатов заговорили о провокации. Доверчивые и откровенные покупатели букинистического магазина бесследно исчезали.

Рабочие в эту лавочку забредали не часто. А Зубатов жаждал встреч именно с ними. Он был умен, этот провокатор-продавец. И понимал, что молодые народники, пусть они даже кричат о терроре, солидные земцы, шушукающиеся по поводу необходимости конституции, – это только кукиш в кармане.

Главный враг самодержавия плохо умеет читать и плохо питается, не живет в уютных и удобных квартирах.

Но он главный. И самый страшный. И, что страшнее всего, этот враг объединяется, организуется под руководством социал-демократов.

Филеры сбились с ног. Результаты наружного наблюдения в отношении рабочих дают крохи компрометирующих материалов. А затесаться в их среду нелегко.

Зубатову было известно, что «Московский рабочий союз» возник в 1894 – начале 1895 года. И с 1 мая 1895 года принял свое название. Знали охранники и о его структуре: существовании руководящего центра, центральном рабочем кружке, фабрично-заводских кружках. Но этих знаний было далеко не достаточно, чтобы выявить подлинных руководителей союза, охватить наблюдением его разветвленные по различным заводам и фабрикам отрасли.

Первой руководящей «шестеркой» союза были интеллигенты с опытом подпольной работы, знанием конспиративной техники.

Центральный рабочий кружок составился из 26 представителей социал-демократических групп заводов Листа, Бромлея, Набгольца, Грачева, Гужона, железнодорожных мастерских, фабрик Гоппера, Лыжина, Баулина, трех типографий и т. п. Эти представители были рабочими – С. Прокофьев, Ф. Поляков, Е. Немчинов, А. Хозецкий, К. Бойе, А. Карпузи и другие.

Заводские и фабричные кружки были двоякого рода. Их так и величали: «кружки № 1», куда входили уже распропагандированные рабочие, и «кружки № 2» – для рабочих, только-только затронутых пропагандой.

«Рабочий союз» располагал своей типографией в мезонине домика на Садово-Черногрязской улице, невдалеке от Курского вокзала. Один мимеограф и один ручной типографский станок – техника не бог весть какая, но охранка потеряла покой, разыскивая тайную печатню, снабжающую фабрики и заводы прокламациями: «О 8-часовом рабочем дне», «Воззвание к Первому мая», «О повышении заработной платы», «По случаю смерти Александра III».

Была и своя библиотека. Но охранники могли только догадываться о ее составе.

Зубатов, конечно, понимал, что можно в конце концов

выследить руководителей союза, можно одним ударом обезглавить рабочую организацию. Но его беспокоила живучесть этих организаций, их способность быстро возрождаться после очередного разгрома. И это свойство так разительно отличало рабочих от интеллигентов. Уж как грозны были народовольцы конца 70-х – начала 80-х годов, но под сокрушительными ударами царизма погибла партия. Смолк «револьверный лай», не слышно стало «бомбовых раскатов». И никакие попытки вновь возродить боевые традиции и дух Желябовых и Перовских ни к чему, кроме новых жертв со стороны революционеров, не привели. Малочисленна в России интеллигенция и разобщена. Она поставляется всеми классами и не имеет единого политического лица.

Социал-демократические организации живучи. Ведь они обращены к рабочим, они опираются на них. А рабочие – это целый класс, а не прослойка, как интеллигенция, и социал-демократия стремится сколотить рабочую социал-демократическую партию. Партию класса.

Зубатов внимательно и с затаенным злорадством следил за тем, как безуспешно столичная охранка пытается «искоренить» «Союз борьбы». Казалось, чего уж, Ульянов за решеткой, в тюрьмах и остальные «злоумышленники», положившие начало этой организации. А союз существует, действует. На место арестованных заступают новые люди.

Зубатов, правда, успел подметить, что эти «новые», «молодые» несколько отошли от принципов «стариков». Их все больше и больше склоняет к борьбе экономической.

Ну и прекрасно! А столичные остолопы из департамента полиции пугаются, снова арестовывают. Нет, Зубатов действует иначе. Благо в Москве генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович вполне разделяет его, Зубатова, взгляды.

Среди охранников и жандармов, за спинами которых хотел укрыться последний русский царь, Зубатов, бесспорно, был фигурой выдающейся. По уму он стоял на голову выше своих коллег из сыскного ведомства. Правда, ни образованием, ни систематическими знаниями он блеснуть не мог. Но Зубатов был начитан, знал книгу, и это уже выделяло его среди людей, занимающихся той же «паучьей» профессией.

А главное, он был «новатором». Ведь это по его мысли создана паутина охранных отделений. Он настоял, чтобы старые «отцы командиры» и «неудавшиеся гвардейцы» ушли в отставку. На их место пришли полицейские чиновники, зачастую с университетским значком.

Очень компетентный в делах политического розыска,

охранник П. Заварзин точно сформулировал «заслуги» своего шефа: «Зубатов был одним из немногих правительственных агентов, который знал революционное движение и технику розыска. В то время политический розыск в империи был поставлен настолько слабо, что многие чины его не были знакомы с самыми элементарными приемами той работы, которую они вели, не говоря уж об отсутствии умения разбираться в программах партий и политических доктринах. Зубатов первый поставил розыск в империи по образцу западноевропейскому, введя систематическую регистрацию, фотографирование, конспирирование внутренней агентуры и т. п.».

Зубатов понимал, что репрессивные меры могут лишь отсрочить падение царского трона, но не предотвратить его. Зубатов гораздо раньше народников осознал, что главная общественная сила, главная опасность для самодержавия – рабочий класс. Сами по себе интеллигентские кружки – это штабы без армии. С ними-то можно справиться и с помощью тюрем, ссылок, пуль, виселиц.

Но интеллигенты становятся опасны, объединившись с рабочими. Значит, решает Зубатов, необходимо оторвать рабочую массу от революционной интеллигенции. А как это сделать?

Видимо, прежде всего необходимо завоевать доверие рабочего. Рабочий недоволен условиями своего труда, своей жизни, рабочий готов бастовать, чтобы добиться каких-то улучшений. Что ж, можно предоставить законный исход недовольству рабочих, можно, так сказать, «легализовать рабочее движение».

Если рабочие по-прежнему будут видеть в царе, в самодержавии своих покровителей, пекущихся о нуждах пролетариев, то они и ограничатся борьбой экономической. Борьбой с хозяевами. Зато царь для них будет не враг, а отец родной. И пусть тогда революционеры-интеллигенты говорят все, что им угодно. У них уже не будет армии.

Зубатов пытался задержать рабочее движение на стадии борьбы экономической. И на какой-то очень короткий период времени часть рабочих поверила Зубатову. Но вскоре рабочее движение переросло и экономизм и зубатовщину.

Петр Кропоткин, перу которого принадлежат проникновеннейшие воспоминания революционера, признался, что в тюрьме все, и даже самые суровые и закаленные, даже уголовники, начинают с одного – с воспоминаний. А воспоминания всегда открываются детством или ранней юностью. Солнечной беззаботной порой единственных и настоящих каникул за всю жизнь. Потом уже вакаций не будет.

Конечно, Кропоткин забыл о тех, у кого не было ни детства, ни юности. Но в тюрьме о той поре вспоминают даже те, у кого их и не было.

Нерадостны эти воспоминания детства. Село Покровское-Липовец Малоархангельского уезда Орловской губернии, в котором 14 августа 1877 года родился, Иосиф, конечно, не помнит. Как не помнит и своего отца. По паспорту отец значился мещанином, знакомые величали его купцом какой-то там гильдии, а вообще-то он был мелким арендатором.

Разорился, когда Иосифу едва минуло три года. И умер. Любовь Леонтьевна Дубровинская и ее четыре сына – Григорий, Иосиф, Семен и Яков – оказались в отчаянном положении. Ведь в селе такой семье не прокормиться, если нет своего хозяйства.

Своего не было. Не было денег. Не было даже своего дома.

В Курске жили родственники. Любовь Леонтьевна переехала с сыновьями в Курск. Если бы родственники проживали в другом городе, пришлось бы ехать в другой.

В Курске Любовь Леонтьевна открыла крохотную шляпную мастерскую. И сама работала в ней мастерицей. А много ли шляпок нужно Курску? Шляпки – прихоть барынь да купеческих франтих, а их в этом городе и с полтысячи не наберется. Не каждый день заказывают новые шляпки. И не только у Любови Леонтьевны, ведь есть и другие мастера, которых давно знают, к которым привыкли.

Голодно жили. И все же Любовь Леонтьевна всех четырех сыновей отдала учиться в реальное училище.

Вспомнились наставления матери. Она никогда не попрекала разорванными штанами, испачканной рубахой, но избави бог получить двойку. Худшей обиды для нее не было. До пятого класса Иосиф и не знал, что такое двойки. А вот в пятом!..

Но с этого времени воспоминания уходят в сторону от реального училища, дома и даже матери.

Книги, книги. Заброшена учеба. Иосиф только отсиживает положенные часы в училище. Уроки готовит кое-как. Неизменным, правда, остается интерес к математике, легко даются языки, но в реальном они хотя и обязательны, а преподаются плохо.

Дубровинский все же получил среднее образование. К 1895 году он закончил шестой, последний, класс. В том же году семья перебралась в Орел. В Орловском реальном училище был седьмой, специальный, класс. Иосиф Федорович поступил в него, но не окончил – не выдержал экзаменов.

И многих это удивило. Ведь Дубровинский обладал недюжинными способностями. А училище кончали люди и вовсе

бездарные. Он мог окончить с отличием. А ведь отличный аттестат открывал дорогу в высшие технические учебные заведения.

В конце прошлого столетия тяга к высшему техническому образованию у людей, вышедших не из привилегированных слоев общества, была необыкновенно велика. Инженер становился и в России заметной фигурой. Солидные оклады, участие в дележе прибылей, теплые места в правлениях акционерных обществ, директорские посты – казалось, все доступно, ведь инженерами Россия была еще так бедна.

У Дубровинского было много знакомых студентов. Братья Павлович, первыми раскрывшие ему глаза на «мерзости и несправедливости мира сущего», не получили законченного высшего образования. И отнюдь не по своей вине. Их выслали в Курск за участие в студенческих беспорядках. Причем Константин Павлович был студентом Петербургского технологического института, той знаменитой «техноложки», из которой вышли братья Красины и Михаил Бруснев, Глеб Кржижановский и Радченко.

Дубровинскому было с кого брать пример. Тот же Константин Павлович рассказывал своим юным слушателям из кружка «самообразования» не только о Марксе и Энгельсе, Плеханове и Засулич, он делился и живыми воспоминаниями о Брусневе. Он восхищался блестящим техническим дарованием этого человека.

И все же Дубровинский не сожалел о содеянном. Он не стал повторно держать экзамен за дополнительный класс реального училища. И, наверное, никто никогда его не спрашивал: а почему? Почему он не инженер? И только потом, после его смерти, его товарищи по партии, вспоминая Иосифа Федоровича, задавались вопросом: а почему?

Почему Иосиф Федорович пренебрег высшим образованием? И, пожалуй, самый верный ответ дала на этот вопрос Цецилия Зеликсон-Бобровская. Она хорошо знала, любила Иосифа Федоровича, она была и его первым биографом.

«Характерно, что у юного Дубровинского, получившего среднее образование, очевидно, не возникает стремления попасть в какое-нибудь высшее учебное заведение, да если бы такая мысль у него и возникла, то ему все равно было бы не осуществить ее.

…Для поступления в высшее учебное заведение требовалось всегда свидетельство о политической благонадежности. Свидетельства такие выдавались губернаторами, а Иосиф Федорович попал в „сферу наблюдения“ жандармов еще с пятого класса реального училища, еще с 1893 года, в Курске.

Наблюдение это продолжалось, конечно, с большей силой в Орле, когда Иосиф Федорович и возрастом стал старше и более интенсивно стал работать в партийной организации. Таким образом, ни курский, ни орловский губернаторы не выдали бы ему нужного свидетельства, даже если бы он стал хлопотать об этом.

Но, помимо всяких внешних, чисто технических, препятствий, у Иосифа Федоровича были и другие, более глубокие причины, заставившие его не стремиться к шаблонному поступлению в казенное высшее учебное заведение, а строить свою жизнь совершенно по-иному. Вполне определившись как марксист, как социал-демократ, Иосиф Федорович решает уже тогда, в ранней своей юности, раз и навсегда посвятить всего себя революционной работе среди рабочих, не затрачивая своего времени на изучение какой-нибудь профессии. В девятнадцатилетнем Дубровинском мы уже, по существу, тогда имеем революционера-профессионала – факт тем более знаменательный, что и Курск и Орел, как города малопромышленные, с пролетариатом скорее ремесленного типа, стояли в стороне от столбовой дороги массового рабочего движения, наблюдавшегося уже тогда в Петербурге, Москве, Иваново-Вознесенске, Екатеринославе и других местах.

Нужно было быть революционером-самородком, чтобы тогда, при таких условиях и в таком юном возрасте, уметь подходить к социал-демократической работе не как кустарю, впоследствии так жестоко осмеянному В. И. Лениным, а как профессиональному революционеру, о котором говорил Ленин: „дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию“».

Иосиф Федорович и в двадцать лет умел сдерживать себя. И поэтому казался угрюмым, замкнутым. А он был человеком с очень тонко организованной нервной системой. Нервы отзывались буквально на все, хотя внешне это было трудно заметить.

В тюрьме, в одиночке, особенно в первые дни, даже привыкшему себя обуздывать бывало трудно. И самыми тяжелыми были часы, когда спускалась ночь, когда стихали шаги надзирателя и не слышался ржавый скрип заслонки глазка.

Иосиф первые ночи почти не спал. Он пытался совладать с нервами. В такие минуты обычно думается о близких, друзьях. Но Иосиф Федорович думал о недругах. И это его успокаивало. Он внутренне собирался, словно готовился тут же вступить в спор, в жестокую словесную перепалку.

Недругами были, как правило, народники.

Особенно один. Он встретился с ним в Орле. Этот народник

сохранился чудом после разгрома орловского кружка, которым руководил Заичневский. Его фамилию Дубровинский так и не узнал – седовласый обломок прошлого продолжал конспирировать по всем классическим правилам, сформулированным еще Александром Михайловым. Дубровинский с ним часто спорил, а тот распалялся. И главный аргумент у него забавный. Де, мол, вы, социал-демократы, не согласны с нами, народниками, только потому, что вы и мы – люди разных поколений, отцы и дети.

Он утверждал, что молодежь все равно пойдет не вслед «призрачной идее», а по тропе романтики и героизма. А романтика сопутствует народникам. Романтика подкопов, героизм покушений. Ведь этому хочется подражать. А вот захочется ли подражать тем, кто в клопиных бараках или в закоптелых квартирах читает листовочку или разъясняет мастеровому закон стоимости по Марксу?

Обычно этими обвинениями и этим пророчеством старый народник завершал свои бурные выступления против Дубровинского и его друзей. Иногда он ехидно добавлял, что если такие, как Дубровинский и иже с ним, мальчишки и девчонки с завидным упорством все же устраивают кружковые занятия, то это потому, что они ни на что иное, подлинно героическое, не способны. А может быть, отрицая поколение отцов-народников, отрицая все, что они делали, «дети» из упрямства все стараются сделать наоборот.

Конечно, не много романтики в кружковых занятиях. Зато насколько больше пользы, нежели в лихих наскоках на генералов, губернаторов, да и самого царя. Однако царя ухлопали, следующий подставил к своему имени только лишнюю палочку.

Слов нет, Дубровинский искренне восхищался героизмом Желябова, Перовской, Степняка-Кравчинского, Александра Ульянова, но подражать им – нет уж, увольте. Теперь, почти двадцать лет спустя после гибели Исполнительного комитета «Народной воли», ошибки и заблуждения героев-одиночек стали особенно заметными. И их так беспощадно вскрыл Владимир Ульянов в своей замечательной книге «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».

Забавно, конечно, что правительство все еще никак не очухается от шока, в который его вогнали народовольческие залпы. Оно даже готово марксистов поощрять – ведь они воюют с народниками.

Дубровинский революционер-профессионал?

Да, это было именно так, над этим задумался и умненький Зубатов. В ноле его зрения в конце 90-х годов почти еще не

попадали революционеры-профессионалы. Они, конечно, были раньше. Но раньше это народники, народовольцы. Теперь революционерами-профессионалами становились рабочие. Эту же профессию стали избирать, забросив университеты и институты, и некоторые студенты.

И даже люди, получившие дипломы, люди, перед которыми открывались, казалось бы, такие перспективы, вдруг прятали свои документы подальше в комод и вставали на опасную тропу революционной деятельности.

Совсем недавно в ссылку отправился Леонид Радин – ученый-химик. Впрочем, Радин не в счет. Он пришел к социал-демократам из стана народников, уже будучи профессионалом-революционером. Ну, а тот же Вацлав Воровский? Вместо того чтобы учиться в университете, вел рабочие кружки, фактически руководил «Московским рабочим союзом».

Зубатов лично допрашивал далеко не всех арестованных. Только вожаков, только тех, кто поразил его чем-то непонятным. Дубровинский был одним из руководителей «Рабочего союза». Уже после ареста Воровского и его друзей. Но Зубатов об этом только догадывался. Зато Дубровинский был ярко выраженным революционером-профессионалом.

Желание посмотреть на него, попробовать добиться от него признания, проверить именно на нем свой метод кнута и пряника было у Зубатова естественным. Видимо, это и привело Дубровинского в Гнездниковский переулок, в кабинет «начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в городе Москве».

Если протоколы сохраняют вопросы, которые задают арестованным, если они хранят и их ответы, то протоколы не фиксируют речей следователей.

Конечно, можно было бы попытаться воспроизвести красноречие Сергея Васильевича Зубатова. Он любил говорить, любил «доверительно» побеседовать с подследственным, «раскрыть», «расколоть» его.

Биографы Дубровинского А. Креер и В. Андреев каждый по-своему воспроизводили беседу Зубатова с Дубровинским. Но это их догадки.

Во всяком случае, «красноречие» охранника не произвело на Иосифа Федоровича желаемого впечатления. Он не «раскрывался», не пожелал ничего рассказывать, ничего не подписал.

И это так характерно для социал-демократа, революционера-профессионала.

Молчание, отказ давать какие-либо показания потом стали

правилом, которым руководствовались большевики.

И правило это четко сформулировал Владимир Ильич в письме к Е. Д. Стасовой.

Дубровинский не читал этого письма, оно было написано значительно позже. Двадцатилетний молодой человек сам понял, как должен поступать настоящий революционер.

Между тем народники и народовольцы, оказавшись в руках жандармов, охотно рассказывали о своей деятельности. Это не было с их стороны предательством или проявлением слабости. Это тоже была тактика. Народовольцы стремились использовать трибуну суда для пропаганды своих идей.

Но уже после процесса Веры Засулич открытые суды над политическими с участием присяжных были запрещены. А жандармы из показаний народовольцев все же кое-какие сведения извлекали, и это вело к провалу тех, кто еще не попался.

Не случайно Зубатов и ротмистр Самойленко-Манджаро, который вел дело Дубровинского, стремились всячески выпытать из подследственного хоть какие-нибудь признания. У следователей не хватало материалов для суда.

Внешнее наблюдение, дневник филерской слежки только фиксировали факты встреч Дубровинского с другими арестованными, но не раскрывали содержания этих встреч.

Найденные при обыске листовки, запрещенные книги сами по себе служили уликой, но следователи не могли утверждать, что Дубровинский эти листовки писал и распространял.

Нужны были его признания или признания его товарищей по союзу. А они молчали.

У Зубатова были отрывочные сведения о прошлой «противоправительственной» деятельности Дубровинского. Ведь шпики удостоили своим вниманием совсем юного ученика пятого класса Курского реального училища и уже больше не спускали с него глаз.

Но курский кружок «саморазвития» был в основном интеллигентским, теоретическим. Братья Павлович, которые им руководили, могли порекомендовать своим безусым слушателям книги, помочь достать некоторые из них, помочь разобраться в прочитанном. Но дальше этого ни руководители, ни ученики не шли. Кружковцы читали все, что могли добыть, – Маркса и Бебеля, Энгельса и Плеханова. «Саморазвитие», таким образом, шло по определенной линии. Но полученные знания кружковцы не спешили передать рабочим. Да в Курске и не было подлинно промышленного пролетариата, наиболее восприимчивого к марксистской пропаганде. Так что Зубатова не слишком интересовал курский период в биографии Дубровинского.

Но уже орловский был интересен.

Орел – город с революционными традициями. Правда, за ним не числится сколько-нибудь громких забастовок или шествий. Зато среди интеллигенции России хорошо известно имя Заичневского. Он старый орловец и самый знаменитый. В 1895 году, когда Дубровинские перебрались в Орел, он был еще жив, этот легендарный шестидесятник, якобинец, автор нашумевшей «Молодой России».

В 1885–1889 годах Заичневский организовал в Орле, Смоленске, Курске кружки народовольческого толка. Во главе орловских кружков стояли Русановы, брат и сестра. В Курске кружок молодежи возглавил Арцыбушев, в Смоленске завели маленькую типографию и даже издали несколько листовок от имени «Исполнительного комитета». Призывали к сбору денег в пользу пострадавших от российского правительства.

Заичневский уже мечтал об объединении этих кружков в мощную организацию. Но в марте 1889 года – провал.

Дубровинский застал в Орле тех, кто уцелел от арестов 1889 года. Нашел он там и группу молодежи, которая уже исповедовала марксизм. Бывший народник Максим Перес, его сестра Лидия Семенова, семинарист Владимир Русанов, ссыльные студенты Константин Минятов, Александр Смирнов.

Пора увлечения молодежи народничеством уже миновала. Модным стало быть марксистом. Но Дубровинский и его новые товарищи за модой не гнались.

Именно в Орле Дубровинский впервые сталкивается с рабочими. Крупных промышленных предприятий не было и в этом городе, но зато Орел – большой железнодорожный узел, и здесь депо, ремонтные мастерские. Были в Орле и небольшие заводики – чугунолитейный, механический, алебастровый. Были и типографские рабочие – народ грамотный, развитой.

Вот этих-то рабочих и постарались втянуть в занятия своего кружка Дубровинский, Минятов и их товарищи.

И опять-таки у Зубатова почти нет сведений о деятельности орловских социал-демократов и, в частности, Дубровинского.

Жандармам, правда, удалось перехватить обширную переписку Минятова с женой. Но жандармы могли лишь констатировать, что Дубровинский знаком с Минятовым, что их сближает общность интересов к «нелегальной литературе». Жандармы уверены, что эти люди полны «готовности обратиться к преступной деятельности в социал-демократическом направлении».

Но это была не готовность. Это было действие в социал-демократическом направлении.

В фондах Государственного музея революции сохранилась копия «Воспоминаний о И. Ф. Дубровинском» старого большевика, саратовского социал-демократа Кузнецова-Голова. Почти стершийся машинописный текст начала 20-х годов.

«С Иосифом Федоровичем я познакомился в 1895 году в гор. Орле, через социал-дем[ократку] тов. М. И. Добровольскую (Добровольская Мария Ивановна была в 1895–1896 годах организатором социал-демократических кружков в городе Саратове. – *В. П.),* по поручению каковой из Саратова я ездил в город Орел за нелегальной с[оциал]-д[емократической] литературой.

Он, будучи в то время 18-летним юношей, *уже* являлся выдающимся социал-демократом».

Кузнецов-Голов видел в этом юноше «крупного организатора рабочих масс».

Нет никаких оснований ставить под сомнение это свидетельство Кузнецова-Голова.

Но в своих воспоминаниях Кузнецов-Голов приводит такие факты, которые противоречат всем остальным известным нам документам о жизни Иосифа Федоровича. Так, Кузнецов-Голов уверен, что Дубровинский пришел к социал-демократам из лагеря народовольцев и только знакомство с неким Чернышевым в Курске стало поворотным пунктом в его мировоззрении. В это трудно поверить, учитывая возраст Иосифа.

Вызывает сомнение и утверждение мемуариста, что, «работая в Орле в период 1895—6 года, И[осиф] Ф[едорович] редактирует „Орловский вестник“» и, более того, «пишет очень интересные экономические обозрения в „Саратовский дневник“».

Вряд ли это было под силу восемнадцатилетнему юноше, пусть даже и начитанному. И кроме того, для редактирования «Вестника» требовалось разрешение властей. Они не могли выдать его неизвестному, недоучившемуся юнцу.

После знакомства с Зубатовым Иосифа Федоровича перевели в Таганскую тюрьму. Дубровинский не знал, что это – простое переселение или изменение его судьбы, хотя бы в будущем.

Тюрьма тюрьме рознь. И в каждой по-своему, но обязательно плохо.

Таганская, что называется, с иголочки, только что отстроена по последним образцам американских одиночных тюрем.

Огромное пятиэтажное здание. Посередине сквозной пролет, по которому проходят железные лестницы. С обеих сторон балконы, идущие вдоль дверей камер.

Внизу стол старшего надзирателя. Ему видна вся тюрьма, двери камер всех пяти этажей. Чистота – помешательство местной

администрации. Стены можно протирать батистовым платком, и пятен не будет.

На прогулку выводят раз в день на полчаса во двор. Двор обнесен непроницаемой стеной. В углу двора банька. Еженедельно гоняют мыться. Но это не наказание. Это напоминает о доме. О воле!..

Из окна камеры, если встать на стол, чудесный вид на Кремль и Москву-реку.

Но на стол вставать не разрешается.

Надзиратель пригрозил прикрепить табуретку и стол к боковой стене. На день кровать собирается и поднимается.

Больше Дубровинского допросами не тревожили. И это беспокоило.

Насколько правильной была «тактика молчания» на допросах, хорошо иллюстрирует дело Дубровинского. Московская охранка, конечно, знала о его встречах с Леонидом Радиным, Дмитрием Ульяновым, Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой. Их квартиры находились под наблюдением. И от Дубровинского не отставали шпики. А он бывал в Москве, заходил в эти квартиры.

Когда зимой 1896 года Иосиф Федорович, уже по заданию «Московского рабочего союза», покинул Орел и устроился в земскую статистику Калужской управы, охранка насторожилась. Что бы это могло означать? В Калуге рабочих днем с огнем не сыщешь, разве что с сотню мастеровых. Правда, округа этого города промышленная, здесь немало крупных заводов и фабрик.

Именно эти заводы и фабрики и имели в виду руководители «Московского союза», направляя Дубровинского в Калугу. Они уже тогда, в 1896 году, разглядели в девятнадцатилетнем Иосифе организатора крупного масштаба. Разглядели на расстоянии. И это примечательно.

Снова хочется дать слово Кузнецову-Голову. Наверное, мемуарист (кстати, неплохо знакомый с биографией Иосифа Федоровича не только по курско-орловско-калужскому периоду, но и вплоть до смерти Дубровинского) не знал о связях Иосифа Федоровича с московскими социал-демократами и поэтому, описывая его переезд из Орла в Калугу, выдвигает свою версию. И попутно приводит заслуживающие внимания факты:

«…избегая ареста, он (Дубровинский. – *В. П.)* вынужден в апреле 1896 г. скрыться. Проезжая через Саратов, И. Ф. останавливается в Саратове и под кличкой „Илья“ принимает активное участие в проведении 1-й саратовской маевки в 1896 году. Здесь он участвует в нелегальных сходках на моей конспиративной квартире на углу Казарменной и Большой Казачьей ул., на месте „Парай Кашец“, где велись оживленные

политические беседы на политические темы».

Вполне возможно, что, поддерживая связи с саратовскими социал-демократами, Иосиф Федорович побывал в этом городе, тем более что Кузнецов-Голов уверяет – был на его конспиративной квартире. Вряд ли он мог спутать Дубровинского с кем-то другим.

И далее:

«Затем „Илья“ принимает активное участие в перепечатывании на мимеографе прокламаций петербургского „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, в конспиративной квартире социал-демократа Альтовского, помещающегося на очкинском месте, организованной социал-демократкой Дьяковой Е. А., а затем это активное участие „Ильи“ в праздновании 1 Мая (по старому стилю) за городом под красным знаменем совместно с народовольческими группами, где присутствовало более 30 человек. Тут тов. Дубровинский (Илья), выступив с речью, разъяснил присутствующим о значении празднования 1 Мая».

Вряд ли жандармы и охранка знали о том, что делал Дубровинский, выезжая в частые командировки от земского статистического отдела. Иосиф Федорович держался настороженно. И даже с новыми товарищами по земству.

Среди них были и марксисты. Туда же, в Калугу, перебрались и Максим Перес и его сестра Лидия Семенова.

Еще в Орле брат и сестра наладили печатание листовок и более крупных по формату изданий. Печатали «Манифест Коммунистической партии». Причем все это печатали на мимеографе – примитивном и трудоемком печатном устройстве. Кое-что перепечатывали даже на пишущей машинке – тоже в то время технике более чем несовершенной.

Их продукция попадала в Москву, Орел, распространялась и в Калужской округе. У Иосифа Федоровича были иные функции – он объединял, связывал отдельные марксистские кружки, отдельных социал-демократов в одно целое, стараясь расширить влияние «Московского рабочего союза».

Но в Калуге он задержался ненадолго.

Обстоятельства, которые привели Иосифа Федоровича в Москву, были одновременно и радостные и печальные.

Радостные потому, что союз день ото дня рос, его влияние на рабочих было неоспоримо.

Вацлав Вацлавович Воровский позднее писал: «Период пропаганды в замкнутых кругах, доступных лишь сливкам рабочего класса, сменился взрывом накопившегося недовольства в широких слоях рабочих-„середняков“».

Это нашло свое выражение в массовом стачечном движении, которое в значительной мере было вызвано «деятельностью социал-демократических организаций („Союза борьбы за освобождение рабочего класса“ – в Петербурге, „Рабочего союза“ – в Москве)».

1896 год. Чугунолитейный «Перенуд». Стачка. Ее организовал член Центрального Комитета «Рабочего союза» В. Дешев.

За литейщиками – железнодорожные мастерские Рязанской и Ярославской дорог. Завод «Новый Бромлей». Завод «Старый Бромлей». Завод «Гужон».

И снова железнодорожные мастерские Курской и Белорусско-Балтийской дорог.

Еще несколько дней – и Москва будет охвачена всеобщей забастовкой.

А в Петербурге идет настоящая «промышленная война». Только там в отличие от Москвы тон задают не металлисты, а текстильщики.

В середине 1896 года «Рабочий союз» вел усиленную агитацию среди пролетариев 42 фабрик и заводов Москвы и имел связь с 15 социал-демократическими организациями иных городов.

Это не может не радовать.

Но полиция тоже не дремала. Она регулярно «пропалывала» ряды союза, охотясь в основном за его руководителями.

Печально, тяжело терять товарищей.

Июнь 1896 года – арестовано 60 человек, членов союза.

Ноябрь 1896 года – арестовано 89 человек, членов союза.

Московский обер-полицмейстер Трепов в восторге докладывал директору департамента полиции: «Результаты ликвидации блестящи: взято несколько мимеографов, два нуда „Манифеста Коммунистической партии“, две пишущих машинки, масса краски, желатина, множество нелегальных печатных изданий».

Но Трепов ликовал преждевременно. Ему померещилось, что союзу нанесен смертельный удар.

А между тем 14 ноября, через два дня после арестов, филеры принесли московскому обер-полицмейстеру листовку. Ее подобрали на заводе:

«По поводу арестов»

«Наш союз, насчитывающий своих членов почти на всех фабриках и заводах Москвы, не может быть разрушен никакими преследованиями и погромами. Будем по-прежнему бороться под знаменем и руководством „Рабочего союза“, уверенные, что он приведет нас к победе». И снова стачки, забастовки.

На арматурном Гаккенталя, на «Гужоне», заводах Дангауэра, Густава Листа, Доброва, Набгольца. И новые аресты.

12 декабря 1896 года охранка добралась и до руководителей союза. Десять арестовано.

В результате союз возглавили студенты из Московского высшего технического училища и универсант Вацлав Боровский.

Апрель—май 1897 года – арестовано 70 членов союза во главе с Воровским.

Конечно, эти аресты ослабили союз, но не уничтожили его. Обзор жандармских дознаний за 1897 год пестрит данными о рабочих сходках, листовках, призывающих к стачкам, к объединению. А это означало, что и обескровленный союз живет, союз борется.

Именно в это время уцелевшие руководители союза и решили подтянуть свежие силы из ближайших к Москве городов. И конечно, Дубровинский давно был у них на примете.

Руководители союза могли надеяться, что Иосиф Федорович еще не успел попасть в сферу наблюдения охранки и полиции. Его ни разу не задерживали, не арестовывали, не обыскивали.

Но это было не совсем так. Действительно, до поры до времени полиция не трогала Дубровинского, но следила за каждым его шагом.

Как только Иосиф Федорович сошел с поезда, открылась первая страница дневника наружного наблюдения. Это свидетельствует о том, что калужские шпики передали Иосифа Федоровича московским филерам, что называется, с рук на руки.

> «Дубровинский, Иосиф Федоров, курский мещанин, двадцати лет, приехавший девятнадцатого сентября тысяча восемьсот девяносто седьмого года из Калуги и поселившийся в № 16 меблированных комнат Беловой, в доме домовладельческого товарищества по Большому Казенному переулку, в пять часов пятьдесят минут дня отправился в дом Боровкова, на углу Первого Волхонского и Божедомского переулка, где живет потомственный дворянин Тамбовской губернии Андрей Нилов Елагин, двадцати семи лет, с женой Елизаветой Алексеевой, двадцати семи лет, куда за пять минут перед тем пришла дочь коллежского асессора Мария Николаевна Карнатовская. Пробыв здесь час тридцать минут, Дубровинский вернулся домой. Иосиф Федоров Дубровинский в девять часов тридцать минут утра отправился в дом Дондукова по Сергиевскому тупику (Симоновская слободка), где проживают рабочие:

крестьянин Тульской губернии, Веневского уезда, Подхожинской волости, деревни Подхожинских выселок Петр Никифоров Ястребов-Чумин, двадцати трех лет, и крестьянин Московской губернии и уезда, Дурыкинской волости, села Савельева Иван Романов Романов, семнадцати лет, известные по наблюдению за студентом Московского университета Николаем Николаевым Розановым, арестованным седьмого ноября сего года. Здесь наблюдаемый пробыл час тридцать минут, после чего вышел с Ястребовым-Чуминым, на Таганской площади разделились: Дубровинский направился домой, а его спутник – в дом тридцать шесть (проходной, по Александровской слободе). В четыре часа дня Дубровинский вышел на Новинский бульвар, встретил переплетчика – сына крестьянина Волоколамского уезда, Бухоловской волости и села, Тимофея Елисеева Дроздова, двадцати двух лет, и отправился с ним Проточным переулком к Москве-реке; в Никольском переулке Дроздов наведался на десять минут в дом Де-Виллейн, после чего оба пошли в пивную по Предтеченскому переулку, где и оставались долгое время…»

Конечно, Дубровинский вскоре заметил слежку, И он не заблуждался насчет того, сколько ему еще осталось бродить на свободе.

В Москве Иосиф Федорович вошел в руководящую группу членов «Московского союза». Группа подобралась очень сильная. Здесь были и Дмитрий Ульянов, и Анна Ильинична Ульянова, и Марк Елизаров. В Москве оказались и товарищи по Курску и Орлу – Сергей Волынский, Лидия Семенова, Константин Минятов.

Немного позднее Николай Бауман подсчитал, что революционер-профессионал, если он, конечно, не отсиживается, а активно работает, может рассчитывать на два-три «чистых месяца», когда за ним еще нет слежки, потом месяц-другой он не столько работает, сколько играет в кошки-мышки со шпиками, потом, если вовремя не скрыться за границу, следует провал.

У Дубровинского не было «чистых месяцев». Но и в кошки-мышки ему было некогда играть. Целыми днями на ногах, из конца в конец Москвы, он организовывает новые кружки на заводах, ищет явочные квартиры, добывает литературу, пишет листовки и даже помогает организовывать стачки, подсказывая рабочим пункты их требований.

К концу 1897 года «Московский рабочий союз» был

восстановлен. А в 1898 году по примеру петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» стал именоваться московским «Союзом борьбы».

Но эта реорганизация была уже проведена без Дубровинского.

12 декабря 1897 года Иосиф Федорович вместе с другими руководителями союза был арестован.

Следствие закончилось. Ни Зубатов, ни жандармы не могли похвастаться обилием сведений о деятельности Дубровинского.

В «Записке о положении дознания, производящегося при Московском жандармском управлении по делу о „Рабочем союзе“, переданном обер-полицмейстером, при отношениях от 18 декабря 1897 года и 2 января 1898 года за № 15769 и 48» о Дубровинском было сказано:

«…У рабочего Ястребова по обыску обнаружено воззвание „Ко всем московским рабочим“, от „Июль 1897 г.“, по поводу сокращения с 1 января рабочего дня. Воззвание это он получил от Иосифа Дубровинского, которого признал за посещавшего его „Петровского“, и объяснил, что видался с ним после ареста Розанова, а ранее сего Дубровинский заходил к Ястребову, один раз в октябре, но не был им принят, так как не назвал общих знакомых. Розанов просил Ястребова устроить встречу с Дубровинский, Розанову незнакомым, чтобы условиться ходить кому-нибудь одному. Он был арестован. Очевидно, Розанов и Дубровинский адрес Ястребова получили от разных лиц. Рабочий Тимофей Дроздов, у которого обнаружен один экземпляр „Царь-Голод“, признал знакомство с Дубровинским, известным ему за Николая Петровского.

По обыску у Дубровинского взято 124 экземпляра воззвания „Ко всем московским рабочим“, 36 экземпляров сработанных на мимеографе программы вопросов для опроса рабочих, озаглавленной „Вопросы о положении рабочих в Москве“, 10 экземпляров известных брошюр „Касса рабочего союза“ 1896 года и другие издания.

Кружок Дубровинского. Знакомые Дубровинского студенты Иосиф Машин, взятый по обыску без результатов, и Сергей Волынский (из Курска) объяснили сношения с Дубровинским простым знакомством, а Волынский о происхождении отобранной у него известной брошюры Плеханова „Наши разногласия“ отказался дать объяснение так же, как и Елизавета Федорова, у которой обнаружен по обыску один экземпляр печатной брошюры „Царь-Голод“.

Хотя по делу Дубровинский отказался давать объяснения и назвать фамилии, но есть сведения о сношениях его с Елагиным,

также не допрошенным по известным обстоятельствам; выяснение их отношения и истинный характер роли каждого в этом обществе „Рабочий союз“ служат в настоящее время предметом исследования.

Принадлежащие „Рабочему союзу“ приборы, материалы и принадлежности для печатания. Алексей Никитин и Лидия Семенова опрошены лично об обстоятельствах перевозки из Москвы в Орел – Семеновой, а оттуда Никитиным в Курск ящиков с машиной Ремингтона и заграничным мимеографом; там они были спрятаны у Арсения Мухина, а по обыску 1 декабря обнаружены. Признав это, они дали аналогичные с Мухиным объяснения, причем о происхождении машины Никитин объяснил, что получил ее весной 1897 г., кажется в начале февраля, почему является предположение, не есть ли это тот помянутый выше ящик, оставленный у Минятовой Семеновой, который она в феврале 1897 г. письмом просила Минятову переслать в Калугу Дубровинскому.

Издание „Рабочего союза“. В отобранном у Мухина по обыску в Курске ящике Никитина с машиной Ремингтона, между прочим, оказались, кроме материалов для изготовления трафареток: 1) пачка готовых уже для печати 12 трафареток с текстом брошюры, озаглавленной „Четыре речи рабочих, произнесенные на рабочем собрании в Петербурге 1 мая 1891 г., издание социал-демократов 1897 г.“, 2) испорченная трафаретка заглавного листа брошюры „Манифест Коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса 1847 г.“ (1897 г.) и 3) на листе пропускной бумаги следы текста заглавного листа „Манифеста“ типографской краской, из чего следует с уверенностью заключить, что брошюра эта была уже напечатана. Кроме того, там оказалась испорченная трафаретка на шелковой сетке воззвания, отобранного напечатанным по обыску у Дубровинского, „Ко всем московским рабочим“ за подписью „Рабочий союз“, с датой „Июль 1897 г.“; к изданию „Рабочего союза“ также следует отнести отобранные по обыску у Дубровинского 36 экземпляров воспроизведенного на мимеографе издания „Вопросы о положении рабочих в Москве“ и программу их, составленную с целью сбора сведений расспросами рабочих.

Что касается сведений, относящихся к мужу обвиняемой Надежды Минятовой, эмигрировавшему за границу (в Берлин), то они подробно изложены были в донесении департаменту полиции от 29 марта сего года за № 29. В указанном же донесении заключаются добытые дознанием сведения, указывающие на существование в настоящее время неблагонадежного элемента в Орле; сведения эти сообщены по указанию департамента полиции

от 8 апреля за № 1169 полковнику Шепотьеву для зависящих распоряжений 16 апреля за № 3842».

Да, недолго пришлось Дубровинскому поработать в Москве. Но результаты этой работы, даже по признаниям следователей, были весьма ощутимы.

А ведь в «дознание» включены лишь ставшие известными полиции сведения. А это далеко не все, что успел Дубровинский в Москве.

Судя уже по тому, что «Московский союз» снова очень быстро оправился от разгрома, корни, которые пустили Дубровинский и его единомышленники среди фабрично-заводских рабочих первопрестольной, были очень глубоки.

Старый большевик С. И. Мицкевич, бывший одним из организаторов «Московского союза», потом с гордостью писал в воспоминаниях:

«С этого момента началась в Москве организованная марксистская революционная работа среди рабочих.

С этого времени, вплоть до Февральской революции 1917 года, не прекращалась эта подпольная революционная марксистская работа. Сколько ни было провалов, как ни старалась полиция вырвать с корнем эту организацию, но ей это не удавалось никогда: после провалов разорванная цепочка немедленно восстанавливалась. Борьба временами затихала и глубоко уходила в подполье, но никогда не прерывалась совсем…»

Глава II

Пройдет два-три года, и арестантов уже не станут выпускать из тюрем «впредь до решения…». Не будут и высылать на родину, пока министерство юстиции соблаговолит объявить свой приговор. В исключительных случаях департамент полиции будет соглашаться на денежный залог.

Через два-три года в рядах социал-демократов появится целая когорта революционеров-профессионалов, живущих под чужими именами, по чужим или просто «липовым» паспортам.

А пока, в октябре 1898 года, Дубровинский очутился за воротами Таганской тюрьмы с предписанием немедленно выехать на родину, в город Орел, под надзор полиции, пока по его делу министерство юстиции в административном порядке не вынесет решения.

Если бы это произошло в году 1902—1903-м, Иосиф Федорович, не задумываясь, перешел бы на нелегальное положение. И уж наверное, партия подыскала бы ему иное местопребывание.

А пока Орел.

Можно делать сколько угодно догадок и предположений и постфактум давать советы, что должен был бы предпринять Дубровинский с точки зрения революционера-профессионала. Но вернее всего предположить, что он был бесконечно рад возможности побывать дома. Повидаться с матерью. А там будет видно!..

Сколько лет они встречались только урывками, ночами. Торопливые слова, торопливый поцелуй и тоскливый взгляд на мирно спящих братьев. Теперь не нужно прятаться. Он не имеет права выходить за черту города, но может беспрепятственно бродить по его улицам.

Орловские доморощенные «пауки» неуклюже пытаются сопровождать поднадзорного. Но эти прогулки им в тягость, они довольны, когда Дубровинский, ни к кому не заходя, возвращается домой. Тогда «подметки» не затрудняют себя фантазией и доносят – «хлопочет по хозяйству».

Вечерами филеры заняты своими делами. Они отбыли «присутственное время». И никто теперь не может выгнать их на улицу. На дождь, на холод.

Вечерами, в дождь ли, в мороз, метель, Иосиф Федорович обходит квартиры своих друзей.

Увы, многих он не застает.

Зубатов «почистил» ближние и даже очень дальние

окрестности Москвы. Его летучие отряды филеров выслеживали, разнюхивали, хватали. Они расчищали почву, на которой московский охранник собирался посеять отборные семена провокации.

Прогулки Дубровинского не остались незамеченными. Тем более что дом шляпной мастерицы уже давно примелькался орловской полиции. Она выслеживала брата Иосифа – Семена.

Дубровинского пригласили в полицейское управление и допросили по поводу Семена. Иосиф Федорович не преминул посмеяться над блюстителями: что он может сказать, ведь ему в Таганке о брате не докладывали.

Можно предположить, или даже хочется предположить, что у Иосифа возникла мысль о побеге. Побеге из Орла, от ищеек полиции. Право, сидеть так, без дела, дожидаясь, когда за тобой придут и скажут «пожалуйте в ссылку», невыносимо. Это унизительно не только для революционера, а просто для человеческого достоинства.

Но, наверное взвесив все шансы на успех, Дубровинский отказался от побега.

Не только в Орле, но и по Курску, Калуге, Москве прокатилась волна арестов. Об этом Дубровинский знал. Провалились явки, схвачены руководители союзов.

Московская охранка по поводу этих арестов доносила в Петербург:

«Произведенные в ноябре и декабре минувшего года обыски, по данным наблюдения и розыска в гг. Москве, Курске, Орле и Калуге, обнаружили большое количество противоправительственных изданий социал-демократического направления, отпечатанных на пишущих машинках и мимеографе, а также принадлежности печатанья. Дознанием установлено, что некоторые члены этой группы вели преступную пропаганду среди рабочих, другие же занимались печатанием, изданием или распространением противоправительственных сочинений».

В Петербурге тоже аресты. Куда бежать? А если его поймают в «бегах»? Тогда административной ссылкой не отделаешься. Упекут куда-либо в «романовские тундры» на Енисей или Якутию.

Иосиф Федорович много передумал за время пребывания в тюрьме. Он понял, что для социал-демократов наступает новая пора, требующая решения новых организационных задач. Социал-демократические группы, кружки, комитеты, разбросанные по разным городам России, может быть, и способны руководить отдельными стачками на местах, но для руководства всей политической борьбой русского пролетариата необходима

партия. Партия рабочего класса.

Он знал, что состоялся I съезд РСДРП, съезд, провозгласивший партию рабочего класса. И он хотел быть в ее рядах. А потому не стал рисковать. Что толку от него партии, если охранка упрячет раба божьего Иосифа в Якутию или на Кару?

Из административной ссылки в случае чего и сбежать можно, если, конечно, она будет в сравнительной близости от центра. А вот из Якутии не убежишь, это не Вятка, Вологда или Архангельск.

Понимал Дубровинский и другое: создающейся марксистской партии русского пролетариата нужны хорошо образованные марксисты. И уж если он выбрал для себя профессию революционера, то должен быть во всеоружии теории марксизма.

Значит, годы вынужденного поселения он должен использовать с толком. Он будет учиться и учиться.

Гектографы, кружковые занятия с рабочими, рефераты – это только подготовительный класс школы революционного подполья. Пора серьезно взяться за теоретическую учебу. И где-либо в Вятке или Вологде – традиционных местах административной ссылки – это сделать легче, нежели в Якутске или на Каре.

Это только догадка, предположение. И если Иосиф Федорович думал так или примерно так, то это были невеселые думы, но в тех условиях единственно правильные.

Может быть, у Дубровинского были какие-то иные мотивы. Но он ни с кем не делился своими мыслями. Потому-то на нашу долю и остаются только домыслы и догадки.

В июне 1899 года Иосифа Федоровича вызвали в полицейское управление города Орла. Наконец пришло решение министерства юстиции: «…выслать на жительство под гласный надзор полиции в Вятскую губернию Иосифа Дубровинского – на 4 года…»

Четыре года административной ссылки. Такой срок получали только те, кто казался полиции очень опасным. Обычно ограничивались тремя годами.

Зубатов не ошибся. Он разглядел в двадцатилетнем Дубровинском крупную фигуру революционного подполья.

В решении министерства указывалось, что Иосиф Федорович ссылается не в город Вятку, а в Вятскую губернию. Это было, конечно, плохо. Но была и надежда: ведь выбор конкретного места высылки принадлежит губернатору. Как-то еще там решит губернский властелин?..

Хмурые, косматые тучи. И белые журавли. Это небо. А на земле, на голом поле приткнулась партия арестантов. Люди

растянулись на раскисшей пашне. Телега с телом умершего. Группа женщин. У одной на руках грудной ребенок. Но молока нет. И в глазах матери тоска, любовь и боль.

Это картина художника Валентина Ивановича Якоби «Привал арестантов». Может быть, Дубровинский и не видел ее на выставке. Наверное не видел. Но он мог бы подсказать художнику многие детали.

Ранняя дождливая осень 1899 года. Из Вятки в далекий, более чем двухсотверстный путь вышла партия арестантов. В ней были люди и в кандалах, были и женщины с грудными детьми. Вместе шли и политические и уголовники, искушенные этапники и впервой вступившие на скорбную дорогу. Они мокли под одним дождем и шли по одной и той же грязи. Шли и шли.

Потом, изможденные, падали на привалах. И снова шли. Натуженное дыхание и свистящий кашель, плач детей и густой мат, окрики конвоиров… И гнетущая беспросветность.

И казалось, что этой дороге нет конца, как нет конца вятским лесам, как нескончаем этот дождь и это серое, навалившееся грязным брюхом на землю небо.

Еще в тюремном смрадном вагоне, воюя с клопами, духотой, вонью, Иосиф Федорович как избавления ждал Казани. Из Казани они поедут по реке, пароходом, ведь иного пути в Вятку нет.

До Казани добрались быстро. Но в Казани их загнали в прокисшие трюмы баржи, которую подцепил черный от копоти и старости буксир. В трюме пахло гнилью, рыбой, потом и прелью.

Иосиф Федорович задыхался, но тогда ему казалось, что всему виной эта баржа. Он, как и все молодые люди, не задумывался о здоровье в двадцать два года. А ведь Дубровинский не отличался богатырским сложением. Недоедание в большой семье шляпной мастерицы было явлением обычным.

Когда окончил училище, началась суматоха неотложных дел, спешка кружковых занятий, сутолока земств. Поездки по нищим, голодным селам Калужской губернии. И он снова питался кое-как. И кое-как спал. И конечно, не копил сил, не «наливался соками».

В Вятской пересылке долго ожидали губернаторского решения. Потом, ближе к осени, Дубровинскому было объявлено, что он водворяется на поселение в город Яранск.

И только осенью сформировалась партия.

Двадцать верст в день. К вечеру темнело в глазах от мучительной усталости. Но ночь не приносила облегчения. Тело ломило от непосильной дороги. Жесткие нары, а иногда и просто грязные доски пола отгоняли сон. За ночь не просыхала одежда, и целый день потом не проходил неуемный озноб.

И конечно, конец этапа – заштатный Яранск показался обетованным раем.

А Яранск отнюдь не был райским местом. Около 5 тысяч жителей, 127 каменных и 532 деревянных дома, 4 церкви и винокуренный завод, олицетворяющий здесь промышленность, одна библиотека и одна женская гимназия. И все.

Со всех сторон город заставлен каменистыми холмами, между ними застыли топкие, болотистые равнины. А вдалеке, по их берегам, сырые, серые, хмурые леса.

Царские охранители знали свое дело, знали, куда ссылать «неугодных», «подозрительных», «бунтовщиков». Один вид Яранска и его окрестностей мог убить всякую надежду, всякую мечту.

В реестре ссыльных мест Вятской губернии Яранск числился чуть ли не на последнем месте. По реестру в этом городе полагалось 11–14 ссыльнопоселенцев при трех полицейских чинах, приглядывающих за ними. Но это был старый реестр, 1881 года. Его творцы исходили из практики народнического и народовольческого движений. И никак не предвидели массового, пролетарского.

Так что Дубровинский сразу же нашел здесь довольно многочисленное общество таких же, как и он, поднадзорных. Среди них оказались и знакомые.

Леонид Петрович Радин был выслан сюда годом раньше и по делу того же «Московского рабочего союза». Они встречались в Москве. И теперь Радин посвящал Дубровинского во все тонкости ссыльного быта.

Леонид Петрович был значительно старше Дубровинского. Он родился в 1861 году. Окончил гимназию, потом Петербургский университет. Его учитель, великий Менделеев, прочил Радину блестящую карьеру ученого. И был несказанно огорчен, когда Леонид Петрович вдруг исчез из университета и объявился где-то в глухой деревне. Радина увлекли идеи народников. Он хотел жить среди крестьян, сеять «разумное, вечное» и, конечно же, вести социалистическую пропаганду.

В 80-х годах Леонид Петрович побывал за границей. Народовольчество после убийства Александра II переживало пору упадка. Когда же Радин прочел первые работы Плеханова и особенно «Наши разногласия», то окончательно разочаровался в народнических доктринах и с той поры усиленно взялся за изучение марксизма.

Радин не вернулся в университет. Он стал социал-демократом.

Леонид Петрович был разносторонне одаренным человеком.

Он мог сделаться видным ученым-химиком и не менее известным поэтом. Но он стал революционером-профессионалом. Дубровинский с Радиным, таким образом, были коллегами по профессии. И это не могло их не сблизить. Дубровинский не скрывал своего восхищения талантами Радина, а Леонид Петрович не переставал удивляться огромной начитанности своего нового молодого друга.

Иосиф Федорович в тюрьме времени зря не терял. Он основательно изучил немецкий язык и теперь с наслаждением читал в подлинниках Гёте, Гейне, Шиллера. Не многие близкие друзья Дубровинского знали, что он тоже пишет стихи. Иосиф Федорович почти никому их не показывал и никогда не соглашался почитать что-либо. Но Радин знал, Радин читал стихи Дубровинского. И видимо, они ему нравились. А Радин был суровый и взыскательный читатель.

В ссылку Радин пришел уже больным туберкулезом, но продолжал увлеченно работать. Работал по ночам, ложился на рассвете и спал до обеда. Напрасно Дубровинский и другие ссыльные уговаривали его отказаться от ночных бдений и, вместо того чтобы весь день спать в полутемной комнате, хотя бы изредка погулять.

Радин ничего и слышать не хотел. Он спешил, хотя и не верил в близкую смерть. Никто из ссыльных товарищей Радина не обладал достаточной научной эрудицией, чтобы оценить исследования Леонида Петровича. Только потом, когда уже стали известны гениальные труды Эйнштейна, близко стоявший к Радину и тоже ссыльный И. Мошинский понял, что Радин вел исследования по тем же проблемам, завершил свою работу и был очень ею доволен.

Дубровинский поселился вместе с Радиным в двухэтажном домике и трогательно ухаживал за больным другом. Он немногим мог облегчить страдания Радина, разве что участливым словом.

Быт ссыльных безотраден. Им запрещалось служить в государственных учреждениях и частных компаниях, работать учителями, даже домашними. Но это последнее правило все же нарушалось, начальство смотрело на это сквозь пальцы. И все же на долю ссыльных в основном оставалась только физическая работа. Радин физически трудиться не мог. А Дубровинский не мог подыскать себе подходящего занятия. Какой-либо профессии у него не было, разнорабочие в этом городе не требовались. Оставалось ухитряться прожить на 1 рубль 20 копеек в месяц, которые ему полагались от казны, как человеку «непривилегированному». Иногда мать присылала небольшие суммы, но Любовь Леонтьевна не имела возможности регулярно

помогать сыну. Она пыталась добиться перевода Иосифа Федоровича в Вятку или Глазов, чтобы приехать туда, устроиться работать и как-то облегчить положение Иосифа. Но министерство внутренних дел оставило ее прошение без ответа.

Правда, Дубровинскому удалось добыть работу по переводу книг Каутского «Анти-Бернштейн» и «Аграрный вопрос», но эти переводы сулили деньги позже, а пока он делился с Радиным последним. Поделился и переводческой работой.

Колония ссыльных, подобравшаяся в Яранске, достатком не отличалась. Немногим помогали родные и друзья. Особенно нуждались поселенцы-поляки, с партией которых в 1898 году и прибыл в этот город Радин. Систематическое недоедание, отсутствие теплой одежды, сырые квартиры в суровом, с очень нездоровым климатом городе делали свое пагубное дело.

Туберкулезный процесс у Радина обострился. Он вынужден был большую часть времени проводить в постели. Но и в постели писал и кашлял, кашлял и писал.

Дубровинский тоже заметно терял силы, худел, начал кашлять. Друзья старались уберечь этих двух замечательных людей. Но что они могли сделать?

В Яранске сколотилась небольшая группа социал-демократов, тоже из ссыльных. И вскоре Иосиф Федорович стал фактически ее руководителем. Среди членов этой группы были люди и постарше Дубровинского, но никто не мог сравниться с ним в знании теории марксизма, в умении самые сложные вопросы изложить четко, ясно, доходчиво.

К нему особенно тянулись ссыльные поляки. Они жадно ловили каждое слово своего молодого учителя. И может быть, здесь, в ссыльной глуши, Иосиф распознал одно из самых замечательных своих дарований – умение увлекать слушателей, убеждать их в своей правоте. И достигалось это не красноречием. Ораторскими талантами Дубровинский не блистал, но его собственная внутренняя убежденность, отточенная мысль, облеченная в очень точные слова и фразы, действовали на любую аудиторию.

Наверное, распознав этот дар, Дубровинский попытался расширить круг своих знакомств. Наверное, ему не терпелось приобщить к марксистской вере тех немногих интеллигентов, которые жили в Яранске постоянно.

Но власть предержащие были начеку. Они старались всячески изолировать ссыльных от остальных жителей города.

Дубровинский показался местным полицейским чинам «человеком очень хитрым и скрытным». Да и из департамента полиции по поводу Иосифа Федоровича последовало указание: «в

смысле надзора обратить особое внимание и наблюдение».

И наблюдение и внимание были обращены. Уже через несколько недель вятский губернатор знал, что Дубровинский сошелся с товарищами по несчастью, что «среди ссыльных пользуется доверием», а через два месяца на имя губернатора пришло прошение, которое подтвердило, что поднадзорный попытался сблизиться и с вольными жителями:

> «С первых же дней по прибытии моем в г. Яранск я столкнулся здесь с рядом глубоко затрагивающих непосредственно мои интересы фактов, которые вынуждают меня обратиться к Вашему Превосходительству с нижеследующим:
>
> Действиями некоторых лиц, занимающих в г. Яранске официальное положение, здесь созданы для высланных такие тягостные условия жизни, которые отнюдь не соответствуют и даже прямо противоречат тем условиям, в которые ставят состоящих под надзором полиции соответствующие узаконения.
>
> Так, например, в самое последнее время местный инспектор народных училищ нескольких подчиненных ему лиц за простое знакомство с высланными, знакомство, при котором никакие незаконные отношения и цели не только не имели места в действительности, но и не были заподозрены и не выставлялись в качестве мотивов самим училищным начальством, подверг тяжелому наказанию – переводу на службу в глухие местности уезда. Между тем, если бы только местной полицией не были нарушены требования закона (Положение о полицейском надзоре, § 6), то г. инспектор народных училищ даже не мог иметь никаких официальных сведений о том, состоит ли кто под надзором или нет, и, следовательно, не имел и не имеет права распространять подобных, подрывающих в глазах местного общества мою репутацию слухов, и тем более принимать меры, имеющие непосредственной своей целью лишить меня (в числе других высланных) возможности иметь какие-либо знакомства и отношения вне круга лиц, находящихся в одинаковом со мной положении. Но эти произвольные и бессознательные действия наносят мне вред не только нравственный. Преследования, которые возбуждаются здесь против меня… преграждают мне всякую возможность найти заработок…

Не видя никакой возможности изменить установившиеся уже в г. Яранске описанные мною положения дел, честь имею просить Ваше Превосходительство о переводе меня на жительство в г. Вятку, где я надеюсь испытать лишь те ограничения, которые действительно в отношении меня установлены законом».

Но тщетно. Яранские полицейские хорошо знали, что можно и что не дозволено. Можно и нужно делать максимум возможного, чтобы создать ссыльным невыносимые условия жизни. И они старались.

Осень. Злые дожди сбили с деревьев последнюю желтую листву. Раздетые, они вздрагивают на холодном ветру и никак не могут согреться.

На улицах ни души, ни собаки. Быстро темнеет, и кое-где в окнах уже зажглись рыжие светлячки керосиновых ламп.

В такую пору нужно заставить себя выйти из дому. И Дубровинский неохотно натягивает пальто.

Радин забылся в тяжелом сне. Его целый день знобило, целый день лихорадочно горели глаза, и он кашлял больше обычного.

Иосиф Федорович на цыпочках вышел за дверь. Он старается каждый день, несмотря на погоду, гулять. Друзья подсмеиваются, уверяют, что это в него въелась тюремная привычка – не пропускать ни одной прогулки. Но он-то знает, что это не совсем так. В последнее время Дубровинский стал замечать, что у него появился какой-то удушливый кашель – нет, не простудный, похожий на кашель курильщиков, но он не курит. Часто, сидя за столом, погруженный в книги, он вдруг ощущал приливы слабости, потом становилось нечем дышать.

На улице ветер подхватил, толкнул в спину, ноги заскользили по липкой грязной жиже. И он сразу задохнулся, закашлялся, прислонился к забору. И все же не повернул обратно.

Его ежедневные прогулки с некоторых пор обрели совершенно определенный маршрут.

Дубровинский промок, пока добрался до небольшого домика, где жила ссыльная – Анна Адольфовна Киселевская.

Анна Адольфовна прибыла в Яранск несколько позже Иосифа Федоровича. Она окончила гимназию в Керчи. Потом уехала, чтобы продолжать учебу в Тифлисе. В 1891 году в кружке Федора Афанасьева стала социал-демократкой. В 1896 году Анна Адольфовна приезжает в Петербург и поступает на Надеждинские акушерские курсы. Через нее петербургский «Союз борьбы» поддерживает связь с Тифлисом.

Через год механик швейных машин Федор Афанасьев был арестован тифлисской полицией. У него нашли большую библиотеку нелегальных книг и два письма, подписанных «Анна К.». Этого было достаточно. Киселевскую арестовали.

После жарких приазовских степей, после необъятной шири теплого моря, после кавказского разгула солнечного света, после великолепия столицы Яранск показался Анне Адольфовне серой могилой. Она забилась в свою комнату, редко куда-либо выходила, почти ни с кем не встречалась. И день ото дня становилась раздражительней, нелюдимей.

За ее плечами были годы «противоправительственной пропаганды». И она знала, что такое нужда.

Ее отец носил громкое звание «золотых дел мастер», но у этого мастера никогда не водились золотые монеты, зато была большая семья и большие долги. Жили впроголодь, милостью родственников. Так что яранский голодный государственный паек в 1 рубль 20 копеек было еще не самое худшее из того, что испытала Анна Адольфовна.

Полицейские власти донесли губернатору: «крайне вспыльчива, домоседка, любит уединение».

И все это не соответствовало действительности. Конечно, станешь домоседкой, если нет никакой работы и нет знакомых. Невольно уединишься в маленькой полутемной комнатушке с книгой, пока сквозь слезящиеся окна пробивается свет. А вечерами нужно экономить керосин. Такие вечера хорошо проводить в задушевных беседах с близкими. Но близкие остались далеко. А здесь самый частый гость – полицейский чиновник. Он приходит «справиться о здоровье». От такой полицейской «учтивости», от нужды и вынужденного безделья станешь не только вспыльчивой, с ума сойти можно.

Как познакомились, как стали друг другу дороги и близки эти два сдержанных, замкнутых человека, никто из ссыльных не знал. Но заметили скоро. Хотя такие люди и не выставляют свои интимные чувства напоказ. В среде революционеров тех дней еще были живучи заветы Рахметова.

Анна Адольфовна вспоминала:

«В то жестокое время подполья многие считали, что у революционера не должно быть семьи, детей. Когда в ссылке родилась наша старшая дочь, один из товарищей прислал нам прямо-таки соболезнующее письмо. Оно до глубины души оскорбило и меня и Иосифа Федоровича. Никогда не считал он, что семья может оторвать его от служения революции».

Кто автор этого письма, Киселевская, конечно, не сказала. Ссыльный И. Мошинский потом признался: «…впоследствии нас

поразила женитьба Иосифа Федоровича на товарище по ссылке Анне Адольфовне Киселевской. Не мирилось это с установившимся в ссылке мнением о Иосифе Федоровиче».

Наверное, Дубровинский и Анна Адольфовна, зная такие настроения среди ссыльных, не спешили с объявлением своего брака.

Но Радину становилось все хуже и хуже. Иосифу Федоровичу все труднее было в одиночку заботиться о больном товарище, оставлять его одного вечерами. А ведь ему хотелось вечером, когда быстрые сумерки заволакивают темной дымкой уродливые улицы и убогие дома, отворить дверь в ту маленькую комнату, где его ждала любовь, где он оттаивал, оставлял за порогом суровость.

И колония ссыльных отпраздновала свадьбу.

Не было лихих троек. И не благовестили колокола церквей. И стол не ломился от яств. Но было шумно, как всегда бывает шумно, когда в дом набивается молодежь, было весело, хотя пелись и невеселые песни.

Накануне свадьбы Леонид Петрович уехал. И Дубровинские не раз вспомнили о человеке, который первым так тепло, так искренне сказал им свое «благословляю».

Может быть, Радин и не произнес этого слова. Но разве все нужно говорить? И может быть, лучше оставить на память песню.

Пели песню, имя автора которой узнали здесь, в Яранске:

Смело, товарищи, в ногу…

Радин сочинил не только слова, но и музыку. И когда сочинял, у него под рукой не было фортепьяно. В Таганской тюрьме оно не полагалось.

Дубровинский давно догадывался, кто автор, ведь он не раз слышал, как Леонид Петрович, усевшись где-нибудь в темном углу, тихо напевал какой-то мотив, вслушивался, проверяя, прощупывая его.

Еще до замужества Анна Адольфовна взялась ухаживать за Радиным. И у женщины это получалось гораздо лучше – Иосиф Федорович не мог с этим не согласиться.

Но его грызли неотступные думы – где и как заработать деньги.

С затаенной болью смотрел он на Анну Адольфовну – худенькая даже для своего небольшого роста, огромные, с каким-то бархатисто-серым отливом глаза подведены непроходящей чернотой от недоедания, от тяжелых дум.

А Анна Адольфовна сердилась. У этой маленькой женщины

был «большой» характер.

Дубровинский обязан продолжать свои теоретические занятия по марксизму.

И Дубровинский продолжал. И это не было проявлением эгоизма – сдал больного друга на руки будущей жены, отбросил заботы о деньгах и целиком ушел в книги. Нет, все, кто соприкасался с Иосифом Федоровичем, неизменно отмечали, что у него всегда «…безупречная корректность, органическое чувство порядочности сочетались с высоко понятым чувством долга, серьезной ответственностью за все свои слова и дела».

Трудно было добывать книги в этой глуши. Единственная городская библиотека ничем не могла помочь Дубровинскому. Случайный подбор старых журналов, без какой-либо системы подобраны и книги, многие из которых тоже попали сюда по случаю.

Иосиф Федорович попытался наладить присылку книг с воли. И друзья как в России, так и за границей охотно готовы были ему в этом помочь. Но если Гейне и Гёте, Шиллер, поэзия и редкая беллетристика благополучно доходили до Яранска, то гораздо труднее было переслать те издания, которые русская цензура запретила. А именно эти-то издания в первую голову и интересовали Иосифа Федоровича.

Советский исследователь А. Креер свидетельствует о том, что в Яранске Дубровинский познакомился с несколькими номерами ленинской «Искры». Но это могло произойти только поздней осенью 1901 года, когда уже закончился срок ссылки Анны Адольфовны и Дубровинский доживал в вятской глуши последние полгода. Ведь первые два транспорта «Искры» провалились. То немногое количество экземпляров первого номера, которое провез в чемодане Н. Э. Бауман, вряд ли добралось до заброшенного вятского городишка.

Между тем Дубровинский за годы пребывания в Яранске, видимо, успел познакомиться с важнейшими работами и Маркса и Энгельса. Читал он и первые книги Владимира Ульянова. Трудно, конечно, утверждать, что в условиях яранской ссылки это было сколько-нибудь систематическое чтение.

Но у нас есть свидетельства жандармов о том, что нужные книги присылались Дубровинскому и частично доходили. Из перлюстрированных писем ссыльных вятские охранники знали, что Дубровинский и его ученики по марксистскому кружку основательно изучают работы Маркса, Энгельса, знакомы с писаниями Бернштейна, Каутского.

В 1900 году через Вержболовскую таможню на имя Дубровинского прибыли из-за границы книги. Наверное, Иосиф

Федорович сумел наладить связи с кем-то, кто близко стоял к группе «Освобождение труда».

Заголовки книг были самые невинные:

1. «Фотографические сообщения».
2. «Высшая королевская техническая школа».
3. «Берлинский путеводитель».
4. «Каталог Вейдманской книжной торговли».

Вержболово посылка миновала благополучно. И добралась до Вятки. Может быть, будь она адресована кому-либо другому, а не Дубровинскому, через несколько дней ее бы спокойно распаковали в Яранске.

Но Дубровинский уже снискал себе «дурную репутацию» у губернатора. Посылку вскрыли. Полицейские чиновники не стали утруждаться чтением. Посылка была переправлена на заключение цензурного комитета иностранной цензуры.

Через некоторое время губернатору стало известно, что обложка «Фотографических сообщений» прикрывала «Историю социализма», «Высшая королевская техническая школа» – не что иное, как «18 брюмера Луи Бонапарта» К. Маркса, а «Берлинский путеводитель» содержал «Стенографический отчет о конгрессе социалистов», в «Каталог Вейдманской книжной торговли» была вложена «Программа немецкой социал-демократической партии».

Дубровинскому угрожали крупные неприятности, вплоть до увеличения срока ссылки. Росчерк губернатора, и Иосиф Федорович будет «препровожден» в места еще более глухие и дальние.

От посылки Дубровинский благоразумно отказался, заподозрив неладное. Видимо, это и спасло его от репрессий.

В эти последние годы XIX столетия в вятскую ссылку попало немало руководителей и «Московского рабочего союза» и петербургского «Союза борьбы». В городе Орлове, а затем в Вятке отбывал ссылку Потресов. Он тогда переписывался с Владимиром Ильичем. В Орлове же в ссылке жили Вацлав Вацлавович Боровский, знакомый Дубровинскому еще по Москве, Розалия Землячка, Николай Эрнестович Бауман.

С ними поддерживал связь Радин. В 1899 году Владимир Ильич и его единомышленники в енисейской ссылке выступили с резким разоблачением экономических и оппортунистических идей Кусковой и Прокоповича, изложенных ими в печально знаменитом «Кредо». Ленин с товарищами написали «Протест». Он был разослан по различным колониям ссыльных. Попал этот документ и в Вятку, а оттуда в Орлов. Его подписали Бауман и Боровский. Они же переправили его в другие города Вятской губернии.

В городе Котельнич при обыске у местной фельдшерицы был найден текст «Протеста» и приложенное к нему письмо.

«Посылаю некую резолюцию и прошу сделать вот что – прочтите ее вашим социал-демократам и спросите каждого, согласен ли он с ней? Затем сосчитайте число голосов, поданных „за“, и сообщите хотя по почте, сколько их.

Резолюция эта написана не нами, и я прошу Вас никому не говорить даже, что этот экземпляр попал к Вам из Орлова и что считают голоса из Орлова».

Видимо, в сопровождении такого же письма «Протест» был послан и в Яранск. Он всколыхнул небольшую колонию «политиков». Дубровинский и некоторые его товарищи подписались под «Протестом».

Новый, 1901-й встречали, как обычно, в компании близких друзей. А ведь этот новый год был первым годом нового, XX века.

Вспомнилось, как ровно год назад кто-то из ссыльных тщился доказать, что век XX начинается 1900 годом, и призывал «отметить как следует». Много тогда смеялись, да и взгрустнули немного.

Новый век Иосифу Федоровичу и Анне Адольфовне придется встречать в этом богом забытом и осточертевшем городе.

Новый век!

Кто устал от старого, кто связывал неудачи, постыдные дела, крушения иллюзий с датами, начинающимися цифрой 18, тот надеялся, что XX столетие похоронит кошмары пережитого. Достаточно проснуться 1 января живым, здоровым и улыбнуться обновленному солнцу тысяча девятьсот первого.

В Москве, Петербурге, губернских городах и даже в яранской глухомани в витринах гирлянды сплетаются в цифру XX. Газеты задолго до наступления торжественной даты оглушают анонсами и краткими пророчествами: «Век без кризисов», «Век без забастовок», «Век процветания». И каждый по-своему возлагает надежды на грядущее столетие.

Царю Николаю II, этому «Чингизхану с телефоном», по словам Льва Толстого, мнится, что канули в прошлое революции и революционеры с бомбами, подкопами, револьверами, что охранительные начала самодержавия испугали трусливых, усмирили задиристых, искоренили смелых, борющихся.

И XX век грезился самодержцу в облике старой, купеческой, допетровской Руси, где так уютно потрескивали свечи, тихо теплились лампады, пахло ладаном, и боярские шапки, собольи шубы да длинные бороды были символами мудрости и власти, а Мономахова шапка – недосягаемой вершиной ее под сенью всевышнего.

«Назад, к допетровским временам», – провозгласила дворцовая камарилья. Это значит засилье дворянства во всех областях государственной, политической, экономической и культурной жизни страны.

«Назад, к Московской Руси» – это значит усиление патриархальных начал в деревне или попросту возрождение крепостнических порядков. Это православие и самодержавие, как гранитные утесы, стоящие на дороге к конституции.

А для тех, кто не согласен? Есть Шлиссельбург. Есть Петропавловка.

Есть централы, рудники, читинские, карийские, вилюйские остроги. Есть пули. Нагайки. И лес штыков.

За этим частоколом император чувствует себя спокойно.

В империи тишина, в империи порядок, в империи твердая власть…

В этом не уверены либералы-земцы, им кажется, что куцая конституция все же была бы громоотводом.

XX век, что несет он им?

Засунуть бы голову под крыло и чувствовать себя в безопасности. Но время врывается в земский уют тревожными ритмами.

И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

От страха перед этими мятежами либерала трясет лихоманка. Поближе к трону, за частокол штыков. Но и тут он дрожит и робко советует: «Нужно проводить умную, гибкую политику».

«Необходимо успокоить массовое движение», – волнуется московский купец, напяливший на себя вместо длиннополого кафтана английский фрак.

И земец и купец «протестуют против крайностей». Оба втираются в доверие к народу, чтобы потом выдать его головой царю.

Зашевелился «старый земец». Он откопал запылившийся всеподданнейший адрес о созыве Земского собора из представителей земств и городов. Это предел его мечтаний.

А век XX уже вступил в свои права. Он никому ничего не обещает. Добывайте сами.

XX не XVII. Можно нацепить на себя боярские хламиды, отпустить бороды, но не вернуть ни московской тишины, ни

абсолютизма. Кануло в прошлое крепостничество. И капитализм домонополистический перерастает в империализм.

Образуются картели и синдикаты. Они монополизируют производство, сбыт, капиталы. Промышленный и банковский капиталы, сливаясь, создают капитал финансовый. Капиталы незримо проникают через рубежи государств, завоевывают рынки, колонии. Идет борьба за передел поделенного мира. Обостряется борьба между трудом и капиталом.

XX век властно стучится в двери фабричных бараков. Тянет за сигнальную веревку заводского гудка, возвещая о новых, еще «не виданных мятежах».

Кружки, чисто экономические забастовки – достояние прошлого. В новом веке рабочий должен победить, обязательно победить. А для этого нужно воздействовать на все слои населения. И главное – стать авангардом в войне за свободу, гегемоном в общенародной борьбе с царизмом.

К этому призывают социал-демократы.

Об этом пишет Владимир Ульянов.

Этим открывается XX век.

Новый министр внутренних дел Сипягин продолжал старую политику, но с еще большим рвением, чем его предшественники – всякие Толстые, Дурново, Плеве, Заики. Он любил посмеяться над ними, вспоминая едкий стишок:

Наше внутреннее дело
То толстело, то дурнело,
Заикалось и плевалось,
А теперь в долги ввязалось,
И не дай бог, если вскоре
Будет мыкать только горе.

Но горе мыкали только крестьяне, рабочие, а помещики получили из рук царизма подарок в виде проданных им за бесценок казенных земель в Сибири. Вдруг выяснилось, что для императорской охоты не хватает тех лесов, которые были отведены раньше.

Ну как можно терпеть ущемление царской охоты? Конечно же, площади лесов должны быть расширены. И они были расширены.

Зато права студентов урезаны.

А права рабочих?..

Но полно, у рабочих не было прав, даже право продавать свои руки было ограничено потребностью в этих руках и полицейской рекомендацией.

Не было прав. Зато о пролетариях «пеклись» сановные правители России. Положение рабочих изучает особая полномочная комиссия. Приходит в ужас. В секретном докладе царю, не сгущая красок, она обрисовывает безысходное положение рабочего класса России и… рекомендует «усилить охрану на заводах и фабриках из расчета один городовой на 250 рабочих». Создать фабричную полицию за счет заводчиков.

Городовые и полицейские «улучшат» положение рабочих!

XX век начался голодом 30 миллионов крестьян. И уже угрожал безработицей пролетариям.

И как мера по борьбе с голодом – организация принудительного труда. «Паразит собирается накормить то растение, соками которого питается» – это слова отлученного от церкви Льва Николаевича Толстого.

И снова забастовки рабочих, студентов.

Студенты волновались и волновали своих либеральных мамаш и папаш.

Правительство тоже волновалось и, чтобы успокоить себя и студентов, издало «Положение о порядке передачи в распоряжение военного начальства воспитанников, увольняемых из высших учебных заведений».

Либеральные папаши продолжали лить слезы и отсиживаться в стороне.

На поддержку студентов встали рабочие. Хотя у них и не было сыновей, учившихся в университетах: их дети с восьми лет гнули спину у станка и не умели писать. Хотя студенты требовали, например, восстановления корпораций, а многие рабочие и значения слова-то этого не понимали.

Но поддержали.

Студенты бастовали. Студенты митинговали. Рабочие рвались на улицу, завоевывали ее, увлекали за собой.

Самый неугомонный, самый революционный российский пролетариат боролся за гегемонию в общенародной борьбе с царизмом. И стремился всякое проявление недовольства поддержать и возглавить.

Уже прокатилась волна демонстраций в Харькове и Москве.

Это было начало тех грандиозных битв, которые, как снежный обвал, нарастали, чтобы потом разразиться громовым ударом.

Говорят, человек ко всему привыкает. Неверно это.

Не может он примириться, когда другие люди не считают его за человека, да еще хотят внушить это с помощью кнута. Результат подобного внушения будет один: всего лишь привычка не бояться кнута.

И тогда каждый раз, как только подымается кнут, человек уже

меньше думает о насилии и больше о том, почему оно совершается.

Царизм был страшно напуган тем, что русский рабочий перестал бояться казацкой нагайки, полицейских шашек, залпов карателей. Рабочий класс России привык к ним, и голос страха уже не заглушал голосов, требовавших свободы, требовавших не только работы и куска хлеба, но свободы собраний, стачек, демонстраций… Свержение самодержавия!

Царизм уже ничем не мог предотвратить стачки, забастовки, демонстрации. И чем чаще они повторялись, тем больше рабочих участвовало в них, тем скорее шло политическое воспитание класса.

А это могло привести…

Да, царские чиновники, император знали, к чему это могло привести.

Рабочий люд все более и более подходил к мысли, что одни забастовки, стачки и демонстрации не принесут ему ни облегчения, ни тем более победы. Можно было забастовать и потребовать повышения расценок, отмены штрафов, можно даже добиться этого у администрации. Можно было заставить правительство вмешаться во взаимоотношения между рабочими и хозяевами, издать кое-какие законы, ограничивающие произвол фабрикантов.

Но проходило немного времени, и все эти «победы» сводились на нет.

Опыт, горький опыт постепенно убеждал класс, что без изменения политического устройства страны никакая экономическая борьба ни к чему не приведет.

Нет, рабочие переросли тех интеллигентов, которые только и знают, что сюсюкают: «Ах, бедненькие, да как вы живете в этих норах? Ах, несчастненькие, да чем вы питаетесь?»

Вековым трудом своим, мозолями, потом, всею жизнью своих отцов пролетариат выстрадал лозунг «Долой самодержавие!».

И в него вложено все: и мечта голодного о куске хлеба, и забота отца о несчастных, голых, неграмотных детях, и видение нового мира, в котором хозяином будет труженик.

«Долой самодержавие!» От этого лозунга шарахается в сторону трусливый либерал. Его не хотят признать и те, кто проповедует экономизм. Он вызывает истерический окрик полицейского офицера: «Огонь!»

Самые зажигательные слова бессильны против пуль и шашек. За мечту нужно бороться сообща и с оружием в руках.

Это тоже было веление века. XX одевался в красное и считал, что этот цвет ему очень к лицу.

Новый век принес Дубровинский и новые заботы.

Анна Адольфовна ожидала ребенка. А молодой будущий отец не находил себе места от тревог. Скоро их станет трое. Ребенку нужно не меньше, чем взрослому, а ведь денег у них не прибавится. Анна Адольфовна истощена, ей все время нездоровится. И как-то еще пройдут роды…

В Яранске есть врачи, но никто из них никогда не специализировался по акушерству. Эти волнения Иосифа Федоровича свидетельствуют и о его трогательном отношении к жене и о некоторой растерянности человека, который к 24 годам не успел постичь повседневность жизни. Дубровинский как-то не подумал, что и в Яранске рождаются дети, и живут, и носятся с гиканьем по улицам.

Возможно, что Анна Адольфовна, учившаяся на акушерских курсах, заметила что-то необычное в своем состоянии. И Иосиф Федорович вновь обращается с прошением к вятскому губернатору. Снова настаивает на переводе в Вятку, но на сей раз он мотивирует этот перевод необходимостью врачебного ухода за Анной Адольфовной.

И снова отказ.

Сдержанный, не желающий показать своим мучителям все те горести, которые по их милости выпали на его долю, Дубровинский на сей раз возмутился.

Губернатор не последняя инстанция.

Теперь прошение идет в Петербург, к министру внутренних дел.

> «В непродолжительном времени жене моей предстоят первые роды, перед которыми, как известно, предвидеть заранее могущие наступить неправильности и осложнения совершенно невозможно. В гор. Яранске, где жена моя, Анна Григорьевна (Адольфовна. – *В. П.)* Дубровинская и я, нижеподписавшийся, проживаем с осени 1899 г. под гласным надзором, нет специалиста-акушера, и, в случае опасности, судьба больной останется в руках врачей, специально акушерство не изучавших…»

Дубровинский не был человеком наивным. Он хорошо понимал, что «Его высокопревосходительство» в лучшем случае запросит губернатора.

Так оно и было.

Губернатор тут же отписал:

> «8 апреля 1901 г.

Господину Министру Внутренних дел

Представляя при сем на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства жалобу состоящего в гор. Яранске под гласным надзором полиции Иосифа Дубровинского на неразрешение ему и его жене отлучки в гор. Вятку, имею честь доложить, что ходатайство это мною отклонено, как не вызываемое необходимостью. Врачебная помощь может быть оказана с равным успехом в месте водворения – г. Яранске, где имеются врачи и акушерки и никто из местных жителей не приезжает в Вятку исключительно на время родов».

К счастью, все обошлось благополучно. Иосиф Федорович стал отцом девочки, которую назвали Наташей. Дубровинский предпочитал более ласковое – Талка.

Он был нежным, заботливым отцом. Анна Адольфовна, когда ей было уже далеко за шестьдесят, вспоминала:

«Появление нашего первого ребенка в ссылке отвлекло несколько И[осифа] Ф[едоровича] от напряженных теоретических занятий, с необыкновенной нежностью и поразительным умением опытной няньки ухаживал он за младенцем. Тут резко сказалась особенность в характере И[осифа] Ф[едоровича] – замкнутость и стремление отгородить свою интимную жизнь от постороннего глаза. Его возню с ребенком, кроме самых близких людей, никто не должен был видеть».

Близился август 1901 года. В августе у Анны Адольфовны кончался срок ссылки. И конечно, Дубровинский настаивал на том, чтобы она, не задерживаясь ни на день, уехала в Орел. Там Любовь Леонтьевна, там ей помогут, там Талка найдет заботу и любовь бабушки.

Но Анну Адольфовну волновало другое. Конечно, она уедет. Но Иосифу Федоровичу больше нельзя оставаться в Яранске. У него туберкулез. Это подтвердил врач, когда Дубровинский был вызван к воинскому начальнику.

Оказывается, административно сосланные подлежали призыву в армию. Царизм не хотел терять ни одного солдата, справедливо полагая, что казарма, пожалуй, похуже, чем административная ссылка.

Анна Адольфовна стала настаивать на том, чтобы Иосиф Федорович подал прошение о переводе в южные губернии. Пусть эти полтора оставшихся года, которые они проведут врозь, Дубровинский будет в местах с лучшим климатом.

Казалось, рассчитывать на такую милость нет никаких оснований. За два года Дубровинский не смог добиться перевода

в соседний город. А тут – южные губернии!

Но Иосиф Федорович подал прошение. Ведь еще в 1900 году Радин добился, чтобы его отправили в Крым. Напрасно друзья уговаривали Леонида Петровича повременить, осторожно намекая на то, что резкая смена климата может быть для него губительной. Радин и слышать не хотел ни о чем. Одна надежда увидеть море, вдохнуть живительный воздух гор… И он уехал.

И умер 16 марта 1900 года, через несколько дней после приезда. Умер в Ялте, у моря. У подножья гор.

До друзей дошло его завещание:

Завещание товарищам

И зреет молодая рать
В немой тиши зловещей ночи.
Она созреет… и тогда,
Стряхнув, как сон, свои оковы,
Под красным знаменем труда
Проснется Русь для жизни новой.

Анна Адольфовна сама повезла прошение.

Шли месяцы. Ответа не было. И снова наступила осень. И вновь Дубровинский сидит в опустевшей комнате. А за окном монотонно стучит дождь. На одной ноте, словно в средневековой пытке.

Потом завоют метели, и сухая поземка будет скрестись в замерзшие окна. Ударят рождественские морозы. А вот уже и Новый год. Как тепло, весело справляли его в прошлом!

31 декабря 1901 года Дубровинский не думал о встрече грядущего. Он только что пришел от врача. Озябшие руки не хотят слушаться. И он никак не может зажечь лампу. Уже пришло время поднимать тосты, желать счастья, здоровья.

Здоровья… Вот свидетельство, которое ему выдал земский врач:

«Свидетельство.

Дано это свидетельство по личной просьбе состоящего под надзором полиции в г. Яранске Иосифу Федоровичу Дубровинскому в том, что он действительно страдает начальным периодом бугорчатки легких, выражающимся в уплотнении верхушки правого легкого (притупление перекуперного тона над– и подключичных впадин, значительное ослабление великулярного дыхательного шума и мелкие хрипы), – повторным лихорадочным состоянием и прогрессирующим истощением. Приступ такого обострения был наблюдаем мною в течение всего ноября месяца. Хотя предпринятое лечение и послужило к временному улучшению, но для предотвращения дальнейшего развития болезни я нахожу необходимым для Дубровинского переезд на жительство в какую-либо южную губернию, чтобы избежать резких климатических влияний.

Врач Яранской земской больницы 31 декабря 1901 г. *А. Шулятников».*

Новый год начался новым приступом. И уже 2 января Иосиф Федорович, не дожидаясь ответа из Петербурга, шлет новое прошение.

«Его Высокопревосходительству Господину Министру Внутренних дел состоящего под гласным надзором полиции в г. Яранске Вятской губ. Иосифа Федоровича Дубровинского

Прошение

В прилагаемом при настоящем моем ходатайстве медицинском свидетельстве изложены те медицинские основания, вследствие которых пользующий меня врач признает необходимым для меня переезд на юг. Без этого условия, по заявлению врача, успешное лечение болезни легких, которой я страдаю, невозможно. До окончания срока главного надзора мне остается полтора года. Таким образом, если бы перемена местожительства не оказалась возможной, мне пришлось бы прожить при очень неблагоприятных климатических условиях значительный промежуток времени, включающий при том два особенно опасных весенних периода.

Ввиду изложенного, честь имею просить Ваше Высокопревосходительство о переводе на оставшееся от отбытия надзора время в одну из южных губерний.

Медицинское свидетельство прилагаю.

2 января 1902 г. *Иосиф Дубровинский».*

И снова потянулись дни ожидания и тоски. Он скучал по жене, скучал по маленькой дочке. Ей еще не напишешь писем.

И с еще большим усердием читал, читал, читал.

Не получив высшего образования, Иосиф Федорович самоучкой стал одним из наиболее образованных марксистов.

За всю свою недолгую жизнь Дубровинский написал лишь несколько статей, рефератов и листовок. Но приобретенные знания он не прятал втуне, щедро делился ими в беседах, они помогли ему стать крупнейшим партийным организатором.

То, чего он так долго добивался, на что надеялся и не верил в сбыточность этих надежд, все же свершилось.

Весной 1902 года Дубровинскому было разрешено отбывать

оставшийся срок ссылки в городе Астрахани.

Наконец-то и Казань. Навигация на Волге, слава богу, уже открылась, и теперь прямо без пересадок пароход доставит в Астрахань. На воде еще сыро, особенно вечерами. И удушливый кашель всю ночь будет отгонять сон. Придется потратиться на отдельную каюту. Отдельные только в первом классе. Интересно, имеют ли право ссыльные разъезжать первым классом?

Сопровождающий унтер не протестовал.

Когда-то в Москве Дмитрий Ульянов рассказывал, что Владимир Ильич к месту ссылки добирался по проходному свидетельству третьим классом поезда. И в дороге еще умудрялся работать. Но у Дубровинского уже не осталось сил.

Иосиф Федорович не слышал последних гудков парохода, визгливого гомона провожающих, грохота палубы. Измученный нелегкой дорогой из Яранска, он уснул, даже не раздеваясь.

И проснулся от холода. В открытое окно задувал легкий ветерок. Он приносил с собой влагу большой реки, прохладу ранних сумерек. Несколько часов крепкого сна освежили Дубровинского, и он выбрался на палубу.

Страж сидел у окна каюты. Ужели он думает, что если его подопечный замыслил побег, то воспользуется окном, а не дверью? Пусть себе охраняет.

Можно без конца слушать рассказы о шири и мощи великой русской реки, великолепии ее берегов. Но только с палубы парохода видна эта красотища.

Дубровинский уселся в плетеное кресло, да так и не вставал с него до той поры, пока вечерний туман не скрыл берегов и на реке тускло засветились редкие бакены.

Долго плывет пароход от Казани до Астрахани. Подолгу стоит у городских пристаней. Иосиф Федорович отдохнул за дорогу и даже загорел. После Царицына солнце стало палить невыносимо. Еще середина мая, а с берегов уже тянет сухим жаром, пылью, резкими запахами пожухлых трав. Ужели и в этом году сгорят хлеба, ужели вновь голод миллионов? Эти мысли отвлекли от красот Волги. Да он ими уже пресытился и вдосталь налюбовался.

Теперь Дубровинский на береговых откосах стал замечать драные серые заплаты деревень, хуторков. Что и говорить, волжские деревни выглядят добротно по сравнению с орловской или курской приземистой избушечьей гнилью.

Но все одно лапотная, нищая Русь. И до боли сжимается сердце, когда видишь мощь, простор, удаль русской реки и забитость, тесную скученность, приниженность русских деревень по ее берегам.

Пароход деловито перебирает плицами, обгоняет течение. Вниз, вниз. А навстречу все чаще и чаще попадаются скорбные вереницы людей, натуженно, из последних сил тянущих бечеву. Вот тебе и век пара! Не лошадиными даже, человеческими силами измеряется мощь волжского судоходства.

Астрахань в это солнечное утро слепила глаза белым саваном тонкой пыли. Белесая пелена на немощеных улицах, на крышах, пыль посыпала листья деревьев, пыль хрустит на зубах. Утро, а уже нечем дышать. И тянет к воде.

Дубровинский с завистью поглядел на мальчишек, весело барахтавшихся в грязной жиже Варвациевского канала. Откуда-то с окраин несет отвратительными запахами нечистот, а в центре города, у кремля, пахнет ладаном и гниющими водорослями.

И климат и общее санитарное состояние города не слишком-то благоприятны для легочных больных.

Попутчики на пароходе жаловались, что и с питьевой водой здесь тоже плохо. Водопроводные фильтры не в силах очистить волжскую воду от плотных примесей и органических остатков, а в 12 городских колодцах вода еще хуже.

А вот Анна рвется в Астрахань. Во всяком случае, она не должна приезжать летом. Ведь к зиме многое может измениться.

Пятого июня 1902 года письмоводитель губернского правления отметил:

> «Справка.
>
> Из ведомости Астраханского губернатора, доставленной при отношении от 28 мая 1902 г. за № 839, усматривается, что Иосиф Федоров Дубровинский водворен на жительство под гласный надзор полиции в городе Астрахани.
>
> 5 июня 1902 г.»

Ссылка ссылке рознь. Яранск лежал в стороне от столбовых дорог революционного движения, и туда только «доходили вести».

Астрахань стояла на перекрестке. Недаром древние говорили: «горы разъединяют, моря объединяют». И хотя от Астрахани до моря еще добрых 90 верст, сюда залетают морские ветры, сюда заходят морские пароходы.

Дубровинский в своем прошении на имя министра внутренних дел не называл конкретных городов, он просто просил перевести его в одну из южных губерний.

Министерство само позаботилось о том, чтобы Иосиф Федорович очутился на пути транспорта ленинской «Искры», в важнейшем перевалочном пункте его.

Дубровинский, так остро, так болезненно переживавший свою оторванность от дела, которому бесповоротно решил посвятить жизнь, мог только благословлять департамент полиции.

Уже через несколько дней по приезде в Астрахань Иосиф Федорович понял: кончились его тюремные и ссылочные университеты. Его встретила Лидия Михайловна Книпович. И потому, что он имел к ней явку, Книпович без лишних слов доверилась Дубровинскому. Теорией он еще займется. Сейчас важнее практика.

Это была удивительная женщина. Еще в 1874 году Лидия Михайловна пошла в народ, в это «безумное лето», когда тысячи молодых людей, покинув города, под видом плотников, сапожников, фельдшеров и фельдшериц двинулись в деревни. Это был стихийный поход. И тогда все казалось просто. Русский крестьянин – истинный социалист, крестьянская община – зародыш социалистических форм общежития. И нужно только поднять бунты, а русский крестьянин, как о том вещал Михаил Бакунин, всегда готов к бунту, как пушкинский Онегин к дуэли.

И Лидия Михайловна пошла. Народники не понимали крестьян. Крестьяне не приняли народнические доктрины. Крестьянских бунтов не было, деревня молчала. А народники попали в тюрьмы.

Потом Книпович селилась в деревни, как селились ее друзья по партии «Земля и воля». Была она и народоволкой. И долго еще оставалась верной идеям и памяти Желябовых и Михайловых.

Встреча с Надеждой Константиновной Крупской, совместная работа в воскресной рабочей школе в конце концов оторвали Лидию Михайловну от дорогих образов, она стала социал-демократкой. Но Книпович сохранила и лучшие традиции революционного народничества, которыми так восхищался Владимир Ильич.

Книпович, как никто, понимала необходимость единой централизованной партийной организации, хорошо законспирированной и в то же время повсеместно связанной с рабочими в любом уголке обширной империи.

Она по достоинству оценила ленинской план – с помощью газеты, организатора и агитатора, построить такую партию. И, находясь в ссылке за активную деятельность в петербургском «Союзе борьбы», она стала агентом «Искры».

Море объединяет!..

Каспийское объединило волжские берега с Баку.

Лидия Михайловна исподволь готовила себе преемника, который мог бы возглавить Астраханскую социал-демократическую организацию. Сроки ее ссылки кончались. Она

скоро уедет отсюда.

Если бы Лидия Михайловна прибыла в Астрахань как частное лицо, то, наверное, не покинула бы ее теперь, когда наладилась транспортировка «Искры» из Баку, когда регулярно заработало транспортное бюро в Самаре. Но ведь ее сюда доставили, и полиция глаз с нее не спускает. И конечно, не поверит, если она заявит, что хотела бы остаться на жительство в Астрахани.

Такой неразумный шаг мог бы навести полицию и жандармов на след. А ведь в Астрахани жили и активно действовали и другие социал-демократы, как ссыльные вроде Ольги Варенцовой, Гальперина, так и местные. Их нужно было поберечь.

Дубровинскому оставалось еще более года пробыть в ссылке. Книпович пристроила Иосифа Федоровича на канцелярскую работу. А сама присматривалась.

Замкнут, дисциплинирован, точен. На лету хватает мысль и умеет ее так развить, что диву даешься, – словно он только и думал об этом. Опыт подпольной работы тоже есть. Правда, опыт совсем иного порядка, нежели это требуется сейчас от руководителя социал-демократической организации.

Необходимо, чтобы Дубровинский вник во все детали и тонкости транспортировки «Искры» и других изданий бакинцев. И главное, проникся духом и целями этого детища Владимира Ильича. «Искра» сколачивала партию. Ведь I съезд РСДРП ее только провозгласил, но осталась все та же разобщенность кружков, карликовых комитетиков. Не было ни устава, ни четко сформулированных программных пунктов.

В ссылке, в Яранске, Дубровинский только урывками мог читать «Искру». Он был оторван и от практической работы в комитетах. А именно сейчас нужны были такие организаторы, как он. И Книпович поняла это очень скоро. Наверное, от нее Иосиф Федорович впервой и услышал имя Красина, «Никитича», «Лошади», с которым потом столько лет будет работать рука об руку.

Красин жил в Баку на Баиловском мысу. Жил под своим именем и на широкую ногу. Он был начальником строительства Баиловской электростанции и ее главным инженером. Он принят в лучших домах нефтяной столицы, у него великолепный выезд. Ему едва минуло тридцать, и он строен, красив, одет на зависть бакинским франтам. На строительстве электростанции вавилонское столпотворение. Кажется, что сюда съехались представители всех народностей Европы и Азии. Есть тут и англичане, и немцы, и голландцы. Не говоря о русских, армянах, грузинах, азербайджанцах, татарах.

Но для всех – от простого рабочего до инженера – слово

Красина – закон. Он умеет быть респектабельным, но и умеет, засучив рукава, налаживать станки и приборы. Этот человек «талантлив во все стороны». И по-американски деловит.

Нефтяные тузы без устали нахваливают хозяйственного инженера. И только несколько доверенных товарищей, среди которых и бухгалтер строительства, и сторож, и слесарь, знают, что Красин агент ленинской «Искры». Что через Баку и из Баку идут транспорты газеты на Волгу. А там она растекается по Центральной России, попадает за Урал, проникает и в сибирские тундры.

Но Красин не просто агент, не просто лицо, ведающее перевалочным пунктом нелегального транспорта. Здесь, в Баку, под его руководством поставлена подпольная типография «Нина». Душа и создатель типографии, искрометный Ладо Кецховели дал ей это легендарное имя. И по-новому зазвучало старое предание о просветительнице Грузии Нине, дочери Завулона. Когда-то, давным-давно, в IV веке, она тайно проповедовала христианство, совершала «чудесные исцеления» и заставила уверовать в Христа целый народ.

Подпольная «Нина», дочь Кецховели и Красина, помогала народам уверовать в великую освободительную миссию марксизма.

Дубровинский прибыл в Астрахань как раз в то время, когда в Баку Красин и члены Бакинского комитета РСДРП оправлялись от новогоднего налета полиции. Книпович слыхала о нем. Она знала, что с таким трудом налаженный транспорт матриц «Искры» провалился. По и она не знала подробностей этой новогодней ночи.

А в тот вечер, 31 декабря 1901 года, когда в Яранске Дубровинский вернулся от врача-терапевта, в далеком Баку в приемной зубного врача Софьи Гинзбург зло залаял звонок. Сегодня у нее отбоя нет от пациентов. И это в канун нового, 1902 года. Нет, пусть себе звонят, больше она не принимает.

Скоро уже вечер, а пироги еще не испечены, да и в комнатах не прибрано. Гостей будет немного, все свои. И, как бывало, вспомнят Россию, Москву, Петербург, хрустящий снег и ядреный морозец новогодних ночей. Или нет, метель, обязательно метель.

Уже десять часов. Сейчас придут гости, а она и ног не чует. Устала страшно, полежать бы… Но где там, на кухне что-то подозрительно шипит.

Звонок в передней захлебывается, вот-вот оторвется язычок. Нет, это не клиенты. Ну, конечно, гости. Да что они, с ума сошли или уже успели где-то старый год спровадить?

– Сейчас, сейчас!

Фартук в сторону, взгляд в зеркало.

– Прошу, дорогие гости!..

В переднюю вваливаются трое. В полутьме не разглядеть. Но каковы прохиндеи, явились ряжеными.

– Да будет вам, в Новый год колядовать не положено…

– Госпожа Гинзбург?

Голос незнакомый. Шутники еще и притворяются. Софья Гинзбург распахивает двери в освещенную столовую и тихо опускается на сундук… Жандармы!

На бакинской таможне какой-то неуклюжий рохля наступил сапогом на картонную коробку. Она лопнула. Нужно было составлять акт. Коробку выкинули и ахнули. Призвали жандармов. Те без труда определили характер груза – матрицы, матрицы «Искры». И они пришли на имя зубного врача Софьи Гинзбург.

Она их получала и раньше. И передавала каким-то людям, не зная, кто они, и что она передает, и от кого.

Теперь с таким трудом налаженное печатанье газеты с матриц провалилось. Вернее, провалился адрес.

Красин честно сообщил за границу о провале. Крупская от имени Ильича ответила, что в таком случае нужно сократить работу типографии и переключить все силы на транспорт готовых изделий. Главное – транспорт.

Даже во Франции не много таких уютных, обжитых и таких живописных городков, как Монпелье. В десятке километров от города – море, по соседству Марсель. А в Марселе и в Монпелье очень крепкие профсоюзные организации. Руководители марсельского профсоюза моряков добрые друзья Петра Смидовича.

Смидович живет в Монпелье. Сюда, в этот маленький французский городок, приходят большие, увесистые пакеты.

Через некоторое время эти пакеты уже в Марселе. Их содержимое переложено в компактные резиновые мешки.

Французская пароходная компания «Пакэ» осуществляет регулярные рейсы по линии Марсель – Баку.

Отплевываясь пеной, лодка все дальше и дальше уходила в открытое море. Стихли звуки шумного порта, расплылись его огни.

Авель Енукидзе еще не привык к ночным прогулкам по морю. И он еще никак не может налюбоваться на слаженную работу контрабандистов. А они мастера своего дела.

Уключины не скрипят, смазанные каким-то жиром. Две пары весел опрокидываются в воду, как удочки, на которые клюнули сразу четыре крупные рыбины. Шейки весел заботливо обмотаны

промасленной ветошью.

Настал час луны. Она выглянула из воды как будто только для того, чтобы расписаться золотистым росчерком поперек ребристых волн и исчезнуть.

Авель успел заметить, как лунный росчерк зачеркнула черная тень. Потом высокий борт закрыл небо.

Сквозь шипение пара раздался пронзительный свист. Таким же переливом ответили гребцы на лодке.

Что-то тяжело плюхнулось в воду, потом еще раз, еще!..

Рядом с лодкой угрожающе прорычали пароходные винты, обдали пеной.

И снова видна лунная дорожка. На ней плавают, крутятся в водовороте черные мешки.

Два пуда осадили борта утлого суденышка.

Поездом, а порой и на лошадях, через горы, пакеты попадают в Баку, на Баиловский мыс. Их сортируют, перепаковывают. И прежде всего прочитывают от корки до корки «Искру», «Зарю», брошюры, книги.

И снова в путь…

Дубровинский подружился с рыбаками. В Астрахани рабочие рыбных промыслов, рабочие рыбоперерабатывающих предприятий были чуть ли не самым большим отрядом пролетариев.

Крупных промышленных заведений в городе не было. Более того, в течение XIX столетия шло свертывание промышленного производства. Еще в 1770 году Астрахань насчитывала 130 фабрик и 10 заводов, а в 1830 году в Астрахани и ее окрестностях числилось всего 62 фабрично-заводских заведения. Да и какие это были заводы и фабрики – ватные, красильни, писчебумажные, мыловаренные, скорняжные, овчинные, гончарные.

И только три небольших машиностроительных.

На всех фабриках и заводах в 1889 году числилось 2107 рабочих.

Конечно, после Яранска Астрахань чуть ли не промышленный гигант. Но Дубровинский знал Москву, ее рабочих, ее фабрики и заводы. Естественно, что, включившись в работу местных социал-демократов, он взялся за самое в тот момент главное и трудное – транспорт.

Сколько больших и малых рек и ручейков прорыли себе дорогу к великой Волге. Не счесть! Дубровинский запомнил только ее берега с бесчисленными устьями этих притоков.

Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что в пределах Астраханской губернии Волга, словно пресытившись пришлыми водами, закрыла им дорогу в свое русло. И даже

наоборот, она сама растеклась во все стороны извилистым переплетением рукавов, ериков, проранов, узенов, ильменей.

Без рыбаков в этом водном лабиринте не найти дороги к морю. Рыбаки уверяют, что нужно держаться только одного русла «Бахтемира», только по нему могут подняться к Астрахани морские суда. Да и то когда не дуют «выгонные ветра» с веста и норд-веста.

Значит, за «товаром» иногда придется ходить и в море.

А товары идут регулярно. И регулярно приходят короткие извещения: «выслали партию кавказских чувяк». Или в партии оказываются «фрукты».

Но и чувяки и фрукты похожи друг на друга, как два листа одной и той же газеты.

Из Самары за очередными дарами Баку приезжают агенты транспортного бюро восточного района РСДРП. Астрахань – это только один из пунктов получения, правда самый удобный, пока на Волге не закрывается навигация. Зимой «чувячки» идут уже железной дорогой на Пензу, Саратов и в другие 17 пунктов, с которыми связано бюро.

Иосифу Федоровичу пришлось учиться и перепаковке. Это оказалось нелегким делом.

Прежде всего к приезду транспортера нужно было подыскать безопасную квартиру, а иногда и получателя, если груз приходил прямо на адрес порта.

Ссыльные идти за багажом не могли. Опасно было посылать за ним и местных социал-демократов, они почти наверняка были на примете у полиции. Находить же каждый раз все новых и новых людей из числа сочувствующих очень нелегко. Но Иосиф Федорович умел уговаривать.

Как правило, «получатель» привозил груз на свою квартиру, и тут его и перепаковывали. Сортировали по комитетам. Если газеты и журналы вез сам транспортер, то добывали для него подходящие чемоданы, баулы, корзинки. Но захватить с собой большой багаж транспортер не мог. Значительная часть груза шла малой скоростью по Волге.

И здесь нужно было обладать изощренной фантазией, чтобы придумывать названия груза. Иногда ящики или корзины, набитые книгами, весили слишком много, и традиционные «чувяки» не годились. Не годились и «фрукты». Дубровинскому пришлось основательно изучить тарифы волжских товарных контор, чтобы не ошибиться с названиями.

Стала Волга. Попрятались по затонам пароходы, буксиры, баржи. Декабрьские метели наваливают сугробы на опрокинутые вверх днищем лодки, и берега ниже города начинают походить на

заброшенные кладбища с разрушенными могилами.

Зима здесь еще более лютая, чем в Яранске. В декабре морозы доходят до 30 градусов.

Однажды в такой вот морозный день открылись двери в сенях дома, где жил Дубровинский, и из клубов морозного пара на пороге появилась Анна Адольфовна, а на руках у нее маленькая дочка Верочка.

Он почти год не видел Анны Адольфовны, а Верочку увидел только сейчас, когда ее, как кочан капусты, освободили от бесчисленных одеял, шарфов, платочков.

Анна Адольфовна привезла и радостные и печальные новости. Два брата Иосифа Федоровича арестованы, и оба как социал-демократы. Наташа растет, и бабушка в ней души не чает.

Но Любовь Леонтьевна стала заметно сдавать. Трудно матери смириться с тем, что два ее сына за решеткой, а третий где-то далеко, под надзором полиции. Вот она и ищет забвения в уходе за внучкой. И балует ее как только возможно.

Иосиф Федорович был горд за Якова и Семена. Социал-демократы! И если их упекли за решетку, значит они не сидели праздно, сложив руки.

Теперь, возвращаясь домой, Иосиф Федорович первым делом спешил к кровати, на которой лежала и даже пыталась улыбаться дочка. Мучительно хотелось ее поцеловать, взять на руки и покружить по тесной комнате, принять самое деятельное участие в нелегкой, в условиях Астрахани, процедуре купания.

Нельзя!

Астраханский климат продолжал точить легкие, туберкулезный процесс не прекратился. И Дубровинский беспощадно подавлял в себе все приливы отцовской нежности.

Оторванный от семьи ссылкой, понимающий, что и после ее окончания он только наскоками, наездами сможет бывать дома, уверенный, что ему уготовлены новые тюрьмы, новые ссылки, он не мог позволить себе в редкие часы встреч с дочерьми то, что так естественно для большинства людей.

А ведь Иосиф Федорович к тому же был необыкновенно мягкий человек, любящий отец. И семья была для него не только отдушиной. Это был целый мир, в котором он делал все новые и новые открытия. Это был источник, из которого он черпал силы даже в самые жуткие моменты, когда, казалось, уже все кончено и он не может бороться.

Наступил 1903 год.

Уехала Книпович. И все заботы по сколачиванию и руководству Астраханского комитета РСДРП легли на плечи Дубровинского. Еще перед отъездом Книпович известила

Надежду Константиновну Крупскую о том, что оставляет вполне надежного преемника. И транспорт «Искры» и работа социал-демократической организации под хорошим присмотром.

Но не только Книпович «присмотрелась» к Дубровинскому. Его приметили и жандармы.

Еще осенью 1902 года начальник Астраханского жандармского управления с тревогой извещал департамент полиции, что наплыв поднадзорных в город Астрахань нарушил привычное спокойное состояние умов населения губернии.

«…Негласным наблюдением со стороны чинов вверенного мне управления установлено существование в г. Астрахани какого-то антиправительственного кружка… в нем принимают участие поднадзорные Владимир Евреинов, жена его Екатерина Степановна, Антон Кокорин, Иосиф Дубровинский, Сергей Вржосек, Александр Козлов, Матвей Семенов, Николай Замараев…

В заключение долгом почитаю доложить, что истекший год изобиловал присылкой из-за границы и некоторых местностей России на имя различных учреждений и отдельных лиц нелегальных и революционных изданий».

Жандарм не очень ошибался в оценке деятельности «кружка». Но он не предвидел, что этот «кружок» уже готов конституироваться как Астраханский комитет РСДРП.

Уже в феврале 1903 года Дубровинский извещал редакцию «Искры» о положении дел в Астрахани не от имени «кружка», а от имени комитета.

«Астраханский комитет вынес решение о регулярном отчислении из своих доходов и скоро будет проводить его в жизнь. Настроение очень благоприятное для „Искры“, но необходимо наладить доставку».

Иосиф Федорович Дубровинский, как руководитель комитета, считал своим долгом регулярно информировать редакцию о всех начинаниях возникшей организации, ее платформе в связи с предполагаемым созывом II съезда РСДРП.

«…Несмотря на малочисленность интеллигентных сил, молодость Ком[итета]… им достигнуты более чем хорошие результаты – у него имеются связи среди рабочих, почти в каждое промышленное заведение Ком[итет] может проникнуть через спропагандированных рабочих, более того, ему стали доступны уже такие учреждения, как казармы. У Ком[итета] имеется недурная техника даже по сравнению с таким Ком[итетом], как Саратовск[ий]. В течение 2–3 месяцев Ком[итет] мимеографически выпустил около 8000 листовок… Ком[итет] не упускал ни одного случая собрать собрание рабочих, произнести

перед толпой речь подходящего к моменту содержания. Первая попытка в этом направлении – первомайское собрание прошло удачно (было около 75 человек, и никто не был ни прослежен, ни захвачен как участник собрания), затем идет ряд групповых собраний от 20 до 60 человек. Во время стачки бондарей оратор от Ком[итета] говорил речь под открытым небом, на похоронах рабочего с завода комитетские ораторы произносили на могиле речи, при возвращении толпа раб[очих] пела револ[юционные] песни…»

Жандармы тоже заметили, как расширились связи, как укрепилось влияние искровцев, и особенно среди рабочих рыбных промыслов.

«В Астрахани образовался кружок лиц, – сообщала охранка, – разделяющих программу „Российской социал-демократической партии“ и признавших руководящую роль „Организационного комитета“, состоящего из членов общества „Искра“, в деле устройства общего партийного съезда и объединения и укрепления всех групп упомянутой партии».

Надо отдать справедливость жандармам, они сумели наладить получение информации о деятельности и настроениях «кружка лиц, разделяющих программу» РСДРП.

Действительно, Астраханский комитет, еще не правомочный делегировать кого-либо из своих членов на II съезд, выработал свой взгляд, свою точку зрения на то, какой они хотят видеть партию, ее структуру.

Мария Ильинична Ульянова довела это до сведения Крупской:

«…Всей партией признана настоятельная необходимость стройной центр[ализованной] организации, к[оторая] была бы в силах охранять и укреплять единство движения, своевременно схватывать вновь возникающие задачи партии и проводить в жизнь партийные решения, выяснять теоретические и практические принципы соц[иал]-д[емократ]ии… Астраханский ком[итет] пришел к след[ующим] решениям, к[оторые] и ставит на обсуждение съезда.

1. ЦК партии мы предлагаем избрать ред[акцию] „Искры“. От нее за послед[ние] годы исходила инициатива фактического восстановления партии, она руководила всей объединит[ельной] работой; по своей политической деятельности она известна всей партии, и для всех очевидна обширность ее научной и практич[еской] подготовки, гарантирующей успешное выполнение сложных задач ЦК…

2. Чтобы должн[ым] образ[ом] выполнить свои задачи, ЦК нуждается в собств[енной] сети агентов, обязанность к[ото]рых

всесторонне осведомлять ЦК о положении дела, проводить в местн[ой] организации решения ЦК, намечать выдающихся в том или ином отношении деятелей и прочно связывать их с ними…»

Мария Ильинична поделилась с Крупской и своими впечатлениями о Дубровинском.

Ведь Иосифа Федоровича редакторы «Искры» знали только понаслышке. Годы, когда только-только становилась газета, налаживался ее транспорт в Россию, когда началось формирование комитетов РСДРП, Дубровинский был «не у дел» в Яранске.

Но за несколько месяцев работы в Астрахани он уже заслужил похвалу.

«…У нас появился наследник, назвали его Леонидом… Мы все не налюбуемся на него, подает большие надежды. С этой стороны мы, значит, утешены вполне».

«Накануне 2-го съезда РСДРП Иосиф Федорович, дискуссируя в Поволжье, посещает снова Саратов, и особенно помню это присутствие И[осифа] Ф[едоровича] на ряде конспиративных совещаний нашего соц[иал]дем[ократического] кружка на моей квартире в присутствии В. Ф. Горина… (Владимир Филиппович Горин – делегат II съезда от Саратова. – *В. П.),* где обсуждался вопрос об участии Поволжья на 2 съезде РСДРП».

Наверное, это сообщение Кузнецова-Голова не подлежит сомнению. Иосиф Федорович «посещал» и «выступал», «присутствовал». Мы говорим «наверное» только потому, что уже следующие строки сомнительны.

«…выехав из города Саратова, он (Дубровинский. – *В. П.)* посетил еще ряд поволжских городов, в том числе и г. Пермь, где поступает статистиком в Земскую Управу и где принимает участие в работе Пермской с[оциал]-д[емократической] организации, но там он вскоре подвергается обыскам, а затем арестовывается и водворяется по месту надзора в гор. Астрахань».

Сообщая о пребывании Иосифа Федоровича в г. Перми, Кузнецов-Голов, видимо, с кем-то его спутал. Дубровинский до конца ссылки оставался руководителем Астраханского комитета. И он, конечно, понимал, что полиция его разыщет и за самовольный отъезд из Астрахани может вновь сослать куда-либо в Сибирь, увеличив при этом сроки наказания.

То, что Дубровинский накануне II съезда мог побывать в приволжских городах и, в частности, в Саратове, вполне вероятно.

Июль 1903 года. Жарко. И не только в Астрахани. Не только от щедрот солнца. Термометр общественной жизни России подскочил к делению, за которым уже была красная черта. Красная потому, что она означала революцию.

26 февраля 1903 года Николай II опубликовал манифест, коим и подтверждал свой «священный обет» – хранить вековые устои самодержавия.

Это был царский ответ на клич «Долой самодержавие!».

Но царь колебался. Царь обещал подтвердить не только устои, но и основные законы, он заговорил о свободе вероисповедания, обещал привлечь к пересмотру законов, «касающихся сельского состояния» лиц, «пользующихся доверием общества», облегчить крестьянам выход из общины.

Три уступки.

На них последовали три требования. Их сформулировал Ленин.

«Во-первых, мы требуем немедленного и безусловного признания законом свободы сходок, свободы печати и амнистии всех „политиков“ и всех сектантов…

Во-вторых, мы требуем созыва всенародного учредительного собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без изъятий и которое должно установить в России выборную форму правления…

В-третьих, мы требуем немедленного и безусловного признания законом полной равноправности крестьян со всеми остальными сословиями…».[1]

Благонамеренные земцы, купцы, дворяне, либералы пытались заглушить ленинский голос.

«Не с заносчивым дерзновением или дерзостным притязанием, а в прямодушном усердии отклика на милостивый призыв Вашего Величества… Для исполнения Ваших помышлений… мы просим Вас, Государь…», и далее в том же писарски-елейном тоне орловские земцы умоляли, чтобы законопроекты до внесения их в Государственный совет обсуждались в земствах.

Но время игры в помещичьи парламенты прошло.

«Искра» заявила протест против холопства либералов. Она призывала социал-демократов, рабочих дать истинный ответ царю.

И они дали.

Жарко стало не только в Астрахани. Новороссийск, Донбасс, Мариуполь, Харьков, Николаев, Кременчуг, Таганрог, а потом Одесса, Ростов-на-Дону, Батум ответили стачкой, охватившей весь юг России.

Одновременно забастовало свыше 200 тысяч рабочих. Это уже была всеобщая стачка. Новое оружие в руках пролетариата.

«Искра» оповещала рабочих России о борьбе их товарищей на юге.

Весь июль шли демонстрации в Баку. «Настроение и бодрость бастующих небывалые и невиданные. Толпа жадно слушает каждого оратора, готова идти за ним. Нет сил описать все то, что происходит кругом… Идешь по улице и видишь, 400–500 человек… жадно слушают речи своего оратора… Да, творится нечто знаменательное, то, что называется предвестником революции».

И Ленин резюмировал:

«В общем и целом, стачечное и демонстрационное движение, соединяясь одно с другим в различных формах и по различным поводам, росли вширь и вглубь, становясь все революционнее, подходя все ближе и ближе на практике к всенародному вооруженному восстанию».[2]

Как всполошились не только монархисты, но и буржуазные либералы из стана «Освобождения».

Ну разве можно быть таким нетактичным и на улице кричать «Да здравствует социализм»? Фи!.. «Можно быть добрым гражданином и вполне сочувствовать настоящему рабочему движению, но не разделять вовсе социалистической доктрины и не во имя ее жертвовать деньги. Следовало найти общую для всех почву для сочувствия», – писали эти будущие кадеты. И жертвовали деньги.

Нефтепромышленники ежегодно – 700 тысяч «на содержание полиции» и дополнительно 77 тысяч на содержание сверхштатно 300 полицейских чинов на промыслах.

Всеобщая стачка юга России проходила под руководством комитетов РСДРП. Она началась в условиях острейшего экономического кризиса. Предприниматели еще могли бороться с рабочими путем сокращения производства, увольнений. На это их толкал и кризис.

«Хочу – одну неделю принимаю блондинок, другую – брюнеток», – нагло заявил директор джутовой фабрики в Одессе, почувствовав некоторый спад стачечной волны.

Николай II требовал: «Действовать по забастовщикам оружием».

Полицейских дел заплечный мастер Плеве, когда железнодорожники задержали отправку поезда, вызвал войска – «поезд пойдет если надо, то по трупам».

1903 год предвещал революцию.

3 июля 1903 года у Иосифа Федоровича, наконец, окончился срок ссылки. Свободен! Можно не отмечаться в полицейских участках. Можно сесть в поезд и ехать куда угодно.

Нельзя!

«Ввиду серьезного характера преступной деятельности

Иосифа Федоровича Дубровинского…» Далее перечисляются столицы, города столичных губерний, в которых ему воспрещается проживать еще в течение пяти лет.

Самара не столичный город. Но все же здесь сотня тысяч жителей, по преимуществу купцов, мещан и городских крестьян. В городе мужская и женская гимназии, реальное училище, женская земская учительская школа, железнодорожное училище. В Александровской публичной библиотеке более 10 тысяч названий книг, две частные библиотеки, общество врачей…

В общем здесь есть учащаяся молодежь, есть сочувствующая интеллигенция. И главное – очень удобная связь. По Волге пароходы идут вплоть до Твери и вниз, в Астрахань. Железная дорога соединяет с Уфой, а значит, и с Сибирью.

В Самаре Мария Ильинична Ульянова, а это прямая связь с «Искрой».

Пока Иосиф Федорович и Анна Адольфовна перебирались, открылся II съезд РСДРП. А когда окончательно устроились и немного огляделись, в Самару прямо со съезда явилась Лидия Михайловна Книпович.

Как радостно и как важно узнать обо всем, что происходило на съезде, из первых рук, от делегата, человека, близкого Ленину, Крупской.

Ведь со съездом связано столько надежд. Наконец социал-демократы России оформят свою боевую партию, партию не реформ, не парламентской словопарни, а революционной борьбы.

Лидии Михайловне не дают отдохнуть с дороги. Может быть, поэтому в ее голосе чувствуются усталость и боль, а рассказ походит на ненаписанные мемуары…

17 июля 1903 года, Брюссель. Душно. Улицы словно вымерли. Кто мог, поспешил на дачи к морю, выбрался на курорты.

И кажется, что никому нет дела до иностранцев, собравшихся около трех часов дня в складском помещении, очищенном от товаров и наскоро заставленном стульями.

За столом немолодой мужчина с бородкой, пронзительным взглядом. Великолепно поставленный баритон.

Если бы случайные прохожие заглянули в склад, то с удивлением отметили бы, что мужчина за столом объявил об открытии II очередного съезда Российской социал-демократической партии.

Председатель съезда – Георгий Плеханов. Два его заместителя – Ленин и Красиков.

Об открывшемся съезде мало кто знал в столице Бельгии. Разве что бельгийские социал-демократы и, конечно, бельгийская полиция.

Социал-демократы Брюсселя владеют гостиницами, пивными, торговыми складами. Они не очень охотно прописывают в своих отелях «подозрительных» людей, одетых в приличные костюмы. Полиция же не спускала с них глаз.

Вскоре делегаты съезда заметили за собой слежку. Но проследить каждый шаг каждого из 57 русских социал-демократов… Не такая уж это была легкая задача. Русские с полицейскими шпиками не церемонились, и вскоре кое-кому из соглядатаев пришлось на деле узнать российские «методы отваживания шпиков». Метод проверенный! Сыщик должен следовать за своим подопечным, куда бы тот ни шел. А делегаты, разбившись на пары, бредут в самые отдаленные и пустынные окраины столицы, за склады, на подъездные пути. Потом короткое объяснение с филером. Для пущей убедительности держат правую руку в кармане. Помогает. Шпиков больше не стало видно, но зато четырем делегатам полиция предложила в 24 часа покинуть Бельгию. Лидер социал-демократов Вандервельде разъяснил, что этих четырех сочли за анархистов. Да и вообще бельгийские соцдеки считали, что русскому съезду было бы спокойнее заседать вне пределов «конституционной» Бельгии.

Совет был дельным. Социал-демократов полиция «перекрестила» в анархистов, а арестованных «анархистов» передавала с рук на руки полиции той страны, где они вели свою «подрывную» работу. Этак съезд в полном составе мог очутиться в Петропавловской крепости.

Пришлось переехать в Лондон. Здесь было действительно спокойнее.

Перебравшись через Ла-Манш, делегаты небольшими группами, «приличным» вторым классом следовали в Лондон.

Сколько разных легенд и «правдивых» рассказов долетало до России об этой удивительной островной стране – Англии! И рабочие одеты тут как денди, нет подвалов и вонючих «обжорок», на фабриках чистота, машины делают все, а рабочие покуривают сигары да присматривают за ними.

Но Лондон оказался другим. Нищета, грязь, теснота окраин и роскошь богатых кварталов. Так же, как и в Питере. Такие же грязные рыбные «обжорки», в которых вместо хлеба подают картошку и нет жидких блюд, такие же тесные, грязные меблированные комнаты и ночлежки и так же много нищенски одетых людей, которые вынуждены ночевать на улицах. Ночлежки им не по карману, потому что карманы пусты.

В Лондоне заседали каждый раз в новом помещении. Помнили о горьком брюссельском опыте. Но английская полиция

не проявляла к съезду внимания.

Приняли программу – программу-минимум и программу-максимум. Сначала как минимум – свержение царизма и создание в России демократической республики. Максимум – победа социалистической революции и, что главное, установление диктатуры пролетариата. О ней забыли социал-демократы Бельгии и Германии, Англии и Франции.

Приняли и устав РСДРП. Много было сломано копий. Много раз Ильичу приходилось выступать, убеждать, высмеивать, уничтожать железной логикой тех, кто кивал на «заграничный опыт», кто тянул партию к организационной аморфности. Во главе их был Мартов.

Ему всячески подыгрывал «Балалайкин», такое прозвище заработал Троцкий.

Книжное знание рабочих, книжные газетные сведения об их классовой борьбе, а отсюда терпимость ко всякого рода попутчикам («немецкие социал-демократы терпимы»). Страх перед ленинским «чудовищным централизмом», железной дисциплиной: ведь это не принято у тех же немцев. И вообще зачем еще какое-то участие в жизни партийных организаций, достаточно формальной принадлежности. Смотрите, у немцев аккуратно платят членские взносы, спокойно потягивают пиво на собраниях, слушая речи своих вождей, и раз в четыре года подают свои голоса за партийного кандидата на выборах в парламент. Партийная дисциплина, когда она не противоречит желаниям и взглядам тех, кто должен подчиняться, а если противоречит, то можно и не подчиняться, Ильич же напоминает Робеспьера. И «Балалайкин» называл Владимира Ильича не иначе, как Максимилианом. То, что кривлялся Троцкий, было не удивительно. Но Плеханов, Плеханов…

Плеханов поначалу колебался. У него не было твердого убеждения в том, кто имеет право быть членом партии и каков круг обязанностей партийца:

– Я не имел предвзятого взгляда на обсуждаемый пункт устава. Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то сей, то оный набок гнется». Но чем больше говорилось об этом предмете и чем внимательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина.

Но на съезде прошел первый параграф устава, предложенный Мартовым. Он обеспечивал расплывчатость, разношерстность, неоформленность партии, что так устраивало всех и всяческих оппортунистов.

Глава III

Книпович могла и не продолжать. Всем стало ясно, что Владимир Ильич и с ним большинство делегатов съезда разошлись с Мартовым и его сторонниками.

Лидия Михайловна не скрыла своего огорчения по поводу событий на съезде.

Да, съезд принял боевую революционную программу, включил в нее пункт об установлении диктатуры пролетариата. Эту программу отстаивал Ильич.

Но съезд незначительным большинством за счет колеблющихся утвердил мартовскую расплывчатую формулировку первого пункта устава.

При выборах центральных органов партии произошел раскол. Сторонники Ильича получили большинство мест в ЦК и ЦО, приверженцы Мартова остались в меньшинстве.

Все делегаты-большевики, по предложению Владимира Ильича, становились агентами ЦК и немедленно уезжали в Россию, чтобы по возможности шире разъяснить партии происшедший на съезде раскол. И каждый из делегатов должен был с этой целью объездить как можно больше организаций.

Меньшевики тоже двинули свои отряды в Россию. Они рекрутировали и студентов. Они имели директиву пролезть в комитеты и, пользуясь правом кооптации, проводить в члены комитета только испытанных меньшевиков.

Прибыл такой меньшевистский агент и в Самару.

Теперь самарским социал-демократам предстояло решить, с кем они. Поэтому и сделала паузу Лидия Михайловна, рассказывая о расколе. Поэтому так тревожно всматривалась в лица друзей.

Она не сразу сказала Иосифу Федоровичу, что Владимир Ильич рекомендовал на местах подобрать надежных людей, большевиков и тоже разослать их по местным комитетам для разъяснения решений съезда. При этом Владимир Ильич упомянул и имя Дубровинского. Она ждала ответа. С кем?

Дубровинский не колебался. Конечно, с Ильичем. Конечно, с большинством.

И только не верится, ужели Мартов, ужели Аксель-род?.. Но не верить Лидии Михайловне он не мог. И осталось недоумение, остался горький осадок. А может быть, надежда. Ведь Дубровинский был настолько цельным человеком, настолько прямым, убежденным, что ему было не понять, как так Мартов, один из главных сотрудников «Искры», и вдруг, оказывается,

носил за пазухой камень?

Иосиф Федорович охотно собрался в дорогу. Еще бы, ему предложили объехать социал-демократические организации Орловской и Курской губерний. Ведь там он начинал свой путь революционера, там остались товарищи. Наконец, он сумеет повидать мать.

А может быть, и братья вышли на свободу?

Уже глубокая осень, но еще выдаются солнечные, удивительно прозрачные, но уже прохладные дни. Лучшей погоды и не дождаться, если нужно добираться до небольших городков и рабочих поселков не на поезде, а попутными подводами.

В Орле встретили тепло, радушно. И, что главное, орловских социал-демократов не пришлось долго уговаривать. Они жадно выслушали доклад Дубровинского, познакомились с резолюциями съезда… и проголосовали за позицию большинства. Такие же резолюции вынесли и другие организации Орловской губернии. И конечно, здесь сыграло не последнюю роль то, что сам Дубровинский тоже с большинством. Его не забыли, ему верили, за ним шли.

В Курск приехал под проливным дождем. Пока добрался до явки, живой нитки не осталось. Группа социал-демократов этом городе оказалась невелика – всего семь человек. И им уже кое-что известно о расколе па съезде. Здесь нашлись и свои меньшевики. Но в целом курские товарищи поддержали позицию большинства.

В Курске Иосифа Федоровича ожидало письмо. Члены русской части ЦК предлагали ему незамедлительно приехать в Киев.

Это было неожиданно. Вероятно, произошли какие-то перемены. И быть может, те резолюции и те тезисы, которые положены им в основу своего доклада, устарели или нуждаются в серьезных коррективах. И конечно, получить исчерпывающую информацию он может только от членов ЦК.

Вероятно, в Киеве впервой Дубровинский встретился с Владимиром Александровичем Носковым. Носков, он же «Глебов», «Борис», «Борис Николаевич», был и членом ЦК и членом Совета партии, созданного съездом.

Голубоглазый блондин, немного сутуловатый, когда молчит, и раздвигающий плечи, когда, мгновенно воспалившись, сыплет скороговоркой фразу за фразой с упором на такое ярославское «о», что, кажется, эта округлая буква вот-вот выпрыгнет из открытого рта и покатится по комнате.

Такой человек не мог не произвести впечатления.

С Носковым было нелегко разговаривать. Он часто в середине своей искрометной речи вдруг внезапно замолкал, о чем-то

задумывался, затухал, снова сутулился и становился застенчивым, отвечал односложно, как будто нехотя.

Дубровинский настойчиво выспрашивал у Носкова подробности, но Владимир Александрович больше отмалчивался, словно что-то утаивал от этого беспокойного человека.

Зато только что прибывший из Швейцарии Глеб Кржижановский (Клэр) был словоохотлив.

От него Дубровинский узнал, что Мартов и Плеханов выступили против Ленина. Глеб Максимилианович приложил много сил, чтобы примирить эту троицу. По его словам выходило, что мир или по крайней мере перемирие все же достигнуто. И гроза окончательного разрыва миновала.

Не одного Дубровинского ввело в заблуждение это сообщение Кржижановского. Глеб Максимилианович действительно ездил в Женеву с миротворческой миссией. И, как позже жаловалась тому же Дубровинскому Крупская, «шел на всяческие уступки, превышал даже свои полномочия…».

Кржижановскому так хотелось примирить Ленина с Плехановым и Мартовым, что ему показалось – он достиг своего. И умчался в Россию.

А ведь уже наступил ноябрь 1903 года. Мартын Николаевич Лядов, близко знавший, часто соприкасавшийся с Владимиром Ильичем, старый большевик, искровец и делегат II съезда, вспоминал:

«…В ноябре 1903 г. Ильич ушел из редакции „Искры“. Плеханов „единогласно“ кооптировал не выбранных на съезде редакторов. „Искра“ окончательно превратилась в меньшевистский орган. Ильич был кооптирован в состав ЦК, назначен заграничным представителем ЦК и входил в состав Совета партии уже не как редактор „Искры“, а как член ЦК.

В самом ЦК произошли крупные изменения. Кроме Ильича, в первоначально выбранную тройку (Кржижановского, Ленгника и Носкова) были кооптированы Землячка, Зверь (Эссен), Красин и Гальперин (Коняга)…

…В России были очень плохо и односторонне (у нас не было своей газеты) осведомлены о заграничных раздорах».

И русская часть ЦК по докладу Глеба Максимилиановича приняла решение – разослать по комитетам письма, в которых прямо указать, что хватит спорить, пора помириться.

Казалось, что это решение правильное. Ведь еще не кончился боевой 1903 год. Еще не остыли участники невиданных стачек, схваток с полицией, казаками. И именно теперь так нужна была партия, построенная на принципах централизма, с мощным идейно выдержанным руководящим аппаратом, монолитная в

своем составе.

ЦК показалось, что спор Ленина с меньшевиками – только организационное недоразумение, он не касается главного – целей, программы.

Это было роковое заблуждение, которое потом привело к «примиренчеству», так дорого стоившему партии.

И Дубровинский согласился с мнением ЦК. Оно ответило на его недоумение, возникшее еще тогда, когда Книпович рассказывала о расколе на съезде. Конечно, Мартов и компания ведут себя не по-джентльменски, но разве возможно, чтобы Плеханов перестал быть революционером? В это Дубровинский поверить не мог.

Наверное, там же, в Киеве, Иосиф Федорович встретился и с Леонидом Борисовичем Красиным. «Никитич» тоже приехал на свидание с Клэром (Кржижановским).

Они ведь старинные друзья и однокашники по «техно-ложке».

И Красин, так же как Глеб Максимилианович, считает, что все разногласия в заграничных кругах – издержки, некоторые неудачи периода организационного улаживания.

Возможно, Дубровинский участвовал в остроумных, живых, полных веселой иронии беседах этих двух одареннейших людей. И еще больше проникался убежденностью в их правоте.

К тому же и Красин и Кржижановский были старше Иосифа Федоровича, знали Ленина, любили его, хотя и спорили с ним, и подтрунивали, о чем охотно рассказывали, но скромно умалчивали о том, как «Старик» (так они называли его по старинке) иногда расчихвостивал обоих.

Дубровинский вновь в пути. Снова города, комитеты, споры, резолюции.

Уже зима. Но не видно конца этим поездкам. А он устал. Просто по-человечески устал.

Но ни усталость, ни болезнь не могут его остановить.

Декабрь. Месяц трескучих морозов, сереньких, подслеповатых, полусонных дней и скоротечных колючих метелей.

Но Смоленск встречает мягким сиротским морозцем. На базарной площади, близ вокзала, лошади чавкают талой снежной кашицей.

Дубровинский не стал нанимать извозчика. Лучше пройтись пешком. Ведь он здесь впервой.

Объезжая партийные комитеты, он все время помнил о Смоленске. Но попал сюда уже к концу вояжа.

Сколько-нибудь крупной партийной организации в Смоленске нет. Нет в этом городе и больших косяков

пролетариата.

Город – транзитный паук на дороге от Москвы к Варшаве. На его товарной станции переваливаются с путей на пути чужие промышленные изделия. И Смоленску, не считая усушки, тоже кое-что остается!..

Этот город ЦК избрал местом пребывания своего транспортно-технического бюро. И не случайно.

Лучшего не найти. Полиция и жандармы здесь непуганые. Промышленности нет, а значит, нет и рабочих. Местная же интеллигенция жаждет «просвещать» и вообще «приобщиться» – значит, нет недостатка в квартирах, явках, адресах. Говорят, что заведующий транспортным бюро – большой дока по части добывания паспортов, шрифтов и прочей техники. Фамилия его очень знакомая – Соколов. А вот кличку «Мирон» Дубровинский слышит впервой. Мирон работает в земской статистике. Кажется, вся социал-демократическая, да и эсеровская тоже, интеллигенция осела в местной статистике. Если жандармы обнаружат эту закономерность, то можно ожидать больших бед.

Сам он тоже начинал в статистике. Закономерно!..

Когда смотришь с правого берега Днепра на город, то кажется, что дома скатились с высокого холма и не грохнулись в воду только потому, что им помешала старая, но такая могучая и грозная на вид крепостная стена.

Стена как кокошник на косматой голове холма, а на его вершине древний собор. Но где же город?

И, только взобравшись на холм, Дубровинский обнаружил огромный сквер, смоляне называют его на французский лад «Блонье», запущенный Лопатинский сад и плац с великолепными памятниками в честь побед над Наполеоном.

Город древний, уютный, тихий. И полной неожиданностью стала встреча с трамваем. Его звонки как колокола из другого века. Совсем недавно на строительстве смоленского трамвая работал кладовщиком Иван Бабушкин. Он организовал тогда, кажется, первую в истории этого города забастовку. И благополучно скрылся.

Дубровинский знал одного из членов Смоленского комитета – Брилинга. У него и решил остановиться, минуя явочные квартиры. В Смоленске можно было позволить себе и такую роскошь.

Ух! Уж эти русские чаи! Хочешь не хочешь, а пей. Иначе обида. Иначе хозяйка будет коситься и дуться целый день. Пока Дубровинский устраивался за столом, Брилинг поспешно одевался. Иосиф Федорович был немало удивлен, узнав, что хозяин спешит предупредить комитетчиков о приезде

представителя ЦК – «попозже все соберутся тут же, у меня».

Как все просто в этом городе! В Смоленске три четверти членов комитета РСДРП сидят за разными столами, но в одной комнате местной статистики. И Соколов с ними? Это уже плохо – накроют комитетчиков, загремит и транспорт.

Василий Николаевич Соколов, Мирон, заведующий транспортно-техническим бюро ЦК, конечно, знал, что нагрянувший в их «тихую обитель» гость – представитель Центрального Комитета, знал и его кличку Иннокентий. А вот познакомиться с ним раньше как-то не довелось. Смоленская «контора» была подведомственна «Борису» – Носкову. От него-то и услышал впервой об Иннокентии. Когда Брилинг пригласил Василия Николаевича заглянуть вечерком и сообщил, по какому поводу, Соколов не сказал ни да ни нет.

Все дело в том, что ему не следовало бы «переплетать хвосты», ходить на заседания комитета, хоть он и состоит его членом. То, что он в самом начале, только приехав в Смоленск, вошел в местный комитет, было, конечно, ошибкой. Провал комитета неизбежно повлечет за собой и провал бюро. Но комитет легко восстановить, «технику» же так быстро не возобновишь. Бюро обслуживает многие комитеты, а не только Смоленск и его округу. Значит, провал в Смоленске – развал работы в десятке городов.

Решил не ходить. И все же, когда на город наползли сумерки, пошел. Догадывался, гость будет говорить о II съезде – это сейчас самая больная и самая животрепещущая тема.

В небольшой уютной квартире Брилинга собрались всего четверо членов комитета, пятый был Иннокентий.

Представился «Леонидом». Сообщил, что объезжает организации с докладом о II съезде.

«Мягкий, вдумчивый взгляд, задушевный дружеский разговор и глубокая серьезность в каждом, даже шутливом, слове.

С нажимистой подкупающей мягкостью он рассказывает о результатах съезда. Как будто запросто беседует со старыми своими друзьями, а не формально докладывает по поручению официального партийного учреждения. И доклад утрачивает внушительность прерогативы, но становится непосредственнее, понятнее, задевает и волнует, как свое близкое дело…»

Леонид говорит мягко, не делает резких выпадов.

Непокорные волосы падают на высокий лоб, и время от времени он встряхивает головой, чтобы откинуть их назад. Но Соколову кажется, что этим движением докладчик как бы акцентирует внимание слушателей на наиболее важных местах. Хотя, как знать, возможно, это отработанный прием опытного

пропагандиста.

– Съезда как будто и не было, потому что меньшинство отказывается подчиниться его основным организационным решениям. Интеллигентский индивидуализм не понимает рабочей дисциплины и анархически отказывается от сотрудничества в центральном органе. Кустарничество боится партийной централизации и уродует первый параграф устава. Семейственность не мирится с твердой уставностью и требует оставления всей старой редакции…

Иосиф Федорович давно привык следить во время докладов за аудиторией. Он не собирается, конечно, в угоду ее реакции менять сущность доклада, но зато к концу выступления он наверняка уже будет знать, как расчленится эта небольшая группа социал-демократов.

Соколов слушает внимательно, с какой-то хитрой полуулыбкой, часто кивает головой в знак согласия, ехидно посматривает в сторону Брилинга – наверное, они уже не раз сталкивались по этим вопросам.

Хозяин дома выглядит хмурым, ерзает на стуле и, видно, готов каждую минуту выскочить со своими возражениями, ворваться в любую паузу, которую делает докладчик. Что ж, интеллигентская закваска – без спора, без потока красивых фраз и обязательных цитат ни с чем не соглашаться.

Иосиф Федорович уже порядком устал от этих ненужных словопарень, они каждый раз начинаются, как только он заканчивает свой доклад.

– Эмигрантская кружковщина в целом противопоставляет себя централизованной российской партии, потому что боится ее: партия – для нее гроб. И у страха глаза велики: централизация представляется деспотией, принципиальная твердость центра – бонапартизмом. И она в отчаянье апеллирует к демократизму, к персональному доверию, к традициям старой «Искры».

Но съездовское большинство – это и есть досъездовская старая «Искра». Она создала партию как отрицание кружковщины и семейственности, в том числе и собственной. Произошел недосмотр. Курица высидела утят.

И теперь отчаянно кудахчет на берегу, когда они уверенно поплыли. Борьба меньшинства за ЦО – это борьба за курицу-наседку, за благодушный семейный курятник, за кустарничество.

Соколов с удовольствием слушает докладчика. Мысли четкие, а убеждает он не столько словами, сколько сопоставлениями, удачно найденными параллелями.

– Меньшинство – ведь это почти половина съезда, – Брилинга все-таки прорвало, хотя он еще дипломатничает. – Значит, почти

половина партии, и нельзя ее так легко скидывать со счетов. А потом Плеханов!

Плеханов – светлая голова!

Дубровинский был почти уверен, что именно в такой дипломатической форме полувопроса-полувозражения последует реплика Брилинга. Но хозяин дома вежлив в отличие от тех оппонентов, с которыми Иннокентию уже пришлось вести дискуссии. Они обычно активно не работают и к разногласиям сохраняют интерес только, так сказать, академический. В иных условиях с такими, как Брилинг, может быть, и не стоило бы полемизировать, но в Смоленске, кроме Брилинга, всего три-четыре человека членов комитета, и Брилинг среди них фигура заметная, значит, нужно ответить.

– Плеханов – светлая голова, большой политический ум и прекрасно понимает, откуда и куда дует ветер. Но его доброе сердце не может спокойно мириться с воплями растревоженного собственного гнезда… Что же касается меньшинства, то, конечно, его скидывать нельзя, но подчинить нужно! Иначе партии нет, съезд собирался впустую, ни для кого принималась программа! Тогда так и скажем: ошиблись, не доросли, поспешили, начнем сначала…

Соколову кажется, что Иннокентий устал от этих бесконечно повторяющихся возражений, от слов, от необходимости доказывать то, что ясно и без доказательств. И действительно, Дубровинский устал. А впереди еще, уже завтра, снова дорога. Случайные квартиры, тревожные ночевки на диванах, а то и прямо на полу, завтраки без обедов, чаи без ужина, и вновь полутемные вагоны третьего класса, густые запахи пота, смазных сапог, преющих портянок и кислой пищи.

Застарелая привычка в каждом новом городе ходить с оглядкой, машинально запоминать проходные дворы, вглядываться в лица и всех подозревать. И ни на минуту нельзя расслабить нервы, расстегнуть душу и просто, по-человечески, отдохнуть, пошуметь с дочками.

Соколов сцепился с Брилингом. А Иосиф Федорович пропустил, не слышал начала спора. Видно, их задела его последняя фраза насчет того, что «не доросли» и все надо начинать сначала. Они считают, что начало уже где-то в прошлом и никто не хочет почувствовать себя недорослем, но Брилинг уверен, что ошибка кроется не в созыве съезда, а в его окончании, что кто-то увлекся, затеоретизировался, оторвался от практики.

– Движение развертывается стихийно и по-разному, – Брилинг не может усидеть на месте, но в комнате тесно; вскочив со стула, он так и остается стоять. – Нельзя дирижировать этим

движением из одного, и притом заграничного центра, – дирижерская палочка повиснет в воздухе.

– Аналогия от кустарничества, – Соколов говорит спокойно, немного насмешливо. – Рабочая армия не оркестр на купеческой свадьбе, а боевая сила! И генеральный штаб, а не дирижер, должен быть в безопасности.

Дубровинский молчит. Сейчас лучше не вмешиваться, этот Мирон достаточно ехиден и умен, чтобы загнать Брилинга в угол. Тогда, наверное, по первому параграфу устава не придется преть до утра, тратить слова на гимназистов и сочувствующих.

Соколов загнал-таки хозяина в угол и теперь добивает.

– Массовое движение инстинктивно ищет классовой основы – ясности, дифференцированности, отчетливости организации. Но в нем много старых пережитков от народнического бунтарства и либеральной обывательщины. Их нужно отсеять, и нужно не решето, а сито!

Двое других членов комитета не проронили ни слова. Похоже, что они даже не поняли, о чем идет речь, и им хочется спать.

Но когда дело дошло до резолюции, оказалось, что ее составить труднее, чем согласиться с выводами докладчика. Осудить первый параграф – просто, он минувшее, он устарел для российской действительности уже в тот момент, когда его принимали. А вот как быть с Мартовым? Разве война объявлена? Значит, эта резолюция не что иное, как худой мир, а он всегда хуже доброй ссоры.

Кончили поздно. Соколов уже совсем собрался уходить, как вдруг Дубровинский натянул пальто и вызвался проводить его – от духоты, дыма голова разболелась…

Смоленск спал. Ни прохожих, ни городовых, разъехались по домам извозчики, умолкли трамваи. Редкие фонари даже и не пытаются бороться с темнотой.

Крепостная стена угадывается по зловещей черной тени, тени от звезд.

Молча дошли до Блонье. Когда поравнялись с памятником Глинке, Леонид тихо взял Соколова под руку, наклонился к уху и прошептал пароль.

Василий Николаевич не удивился, что представитель ЦК предпочитает доверительно разговаривать с ним на улице, а не в квартире, пусть даже члена партийного комитета. Пароль был от Носкова. Носков интересовался ходом дел в бюро.

Разговорились. И незаметно беседа соскользнула вновь к проблемам, которые решались на съезде. Теперь Дубровинский не таясь рассказывал Мирону о заграничных, о тех характерных

мелочах взаимоотношений, которые, естественно, не могли найти места в докладе. И о Ленине.

Мирону не довелось с ним встретиться. Когда в 1902 году он из Костромы перебрался в Псков, Ленин был уже за границей. О нем рассказывал Лепешинский, иногда Носков. Рассказ Леонида был полнее, глубже. Чувствовалось, что этот человек близок Ильичу, знает его сокровенные мысли. И тем более неожиданным, даже невероятным, прозвучало признание, что Иннокентий никогда Ленина не видел и не разговаривал с ним.

Ильича Дубровинский почему-то называл «Дядько».

– Нашему Дядьку приходится сейчас труднее всех – один… как доезжачий на чужой псарне. Лает на него мартовская шатия на всех перекрестках и со всех сторон… А он пытается их поймать за хвост – вернуть к логике съездовских рассуждений. Исключительной настойчивости и уверенности человек! Когда ему указывают, что противники не понимают логики потому, что не хотят ее понимать, он отвечает, что не для них это делает, а для будущего, для рабочих масс, которые учатся и хотят понимать!

Соколов почувствовал себя немного но в своей тарелке, ему сразу же пришло на ум сегодняшнее совещание, брилинговская дипломатия и злополучная резолюция. И он не мог удержаться от горькой правды.

– Сегодняшняя резолюция для Дядька не поддержка!

И сам не заметил, как назвал Ильича этим ласковым и уважительным «Дядько». Леонид возразил:

– Но она подразумевает поддержку, па худой конец… на случай окончательного разрыва! Но сейчас он его не хочет, старается избежать.

– И кажется, правильно. Разрыв сейчас – это не было съезда, нет партии – она еще не претворилась в повседневную практику, не стала привычкой.

– Кстати, о практике, – Леонид даже остановился, он как бы подчеркивал этим значимость мысли, которую собирался высказать, хотя мысль могла сама по себе показаться и ординарной. – Знаете, чем больше разговариваешь с комитетами, тем несомненнее становится одно: надо туда больше рабочих. Дядько безусловно прав, и тогда будет меньше слов, больше дела! Да и слова другие пойдут.

Соколов с горечью подумал о смоленском комитете, но и то правда, где в этом городе сыщешь рабочих? А может, и не искали?

Промолчал.

Так, молча, каждый думая о своем, прошли несколько улиц, и

вдруг Мирон с удивлением обнаружил, что подвел гостя к своему дому.

Дубровинскому не хотелось возвращаться, но ночевка у Мирона – вопиющее нарушение конспирации. Если все же за Иосифом Федоровичем есть хвост, то транспортное бюро будет провалено.

Соколов угадал мысль Дубровинского.

– Если уж подметка прицепилась, то все одно провалились. Достаточно того моциона, что мы только что совершили, но я поглядывал, и, по-моему, все чисто…

Тихонько поднялись в мезонин. Не зажигая огня, Мирон открыл замок и жестом пригласил гостя. Дубровинский шагнул в темноту и… отпрянул. И только сейчас Соколов вспомнил, что перед уходом развесил по всей комнате, в передней мокрые экземпляры «Искры».

Через минуту засветила лампа, и они весело рассмеялись.

– Вот так и трудимся. Частенько корзины с литературой где-то попадают в воду, потом эта литература замерзает, вот и оттаиваю, сушу. На прошлой неделе три дня носа не казал из комнат, больным сказался да от хозяйки отбивался. Она то коржики принесет, то за доктором сбегать порывается. А я в одних носках ползаю по комнатам да переворачиваю газетки. В носках, чтобы внизу шагов хворого не было слышно…

И незаметно Мирон стал подробнейше рассказывать, что, как и почему было сделано здесь, в Смоленске. Этим рассказом он и для себя подводил итог. Пока Соколов рассказывал, Дубровинский разглядывал висящие на веревке газеты. Ближайшие к нему номера были старые, досъездовские, других он не видел – темно.

Когда Мирон кончил, Дубровинский встал, прошелся по комнате, потом резко обернулся к удивленному Мирону.

– Позвольте, вы говорите, это самый последний транспорт с «Искрой»?

– Самый последний…

– Но ведь здесь еще досъездовские номера газеты?

– В том-то все и дело, газета приходит к нам этак через два-три месяца… И это еще хорошо. Вот почему ваш приезд, ваш доклад – для нас и отдушина, и окно в мир, и, извините, пассаж… Ведь в этих свежих, с позволения, листах и намека нет на раскол. Тишь, гладь, все внимание предстоящему съезду, а съезд вон когда был, потом всякие слухи. И веришь и не веришь. Прибыла газета – нет, все по-старому. Потом глядишь, когда она отпечатана… И невольно веришь слухам.

Как хорошо, что он зашел сюда, к Мирону. Теперь

Дубровинскому ясно, почему многие провинциальные комитетчики были просто ошеломлены его докладом о съезде, почему резолюции комитетов такие аморфные, расплывчатые. Они ничего толком не знали. Делегаты съезда успели побывать только в центральных и самых крупных организациях. Да ведь и делегаты – кто из числа большинства, а кто и мартовцы…

Теперь он, прежде чем выступать с очередным докладом, выяснит степень информированности членов комитета.

Дубровинский честно поделился с Мироном своим недоумением, рассказал о встречах в Орле, Калуге. Рассказал и о беседе с Кржижановским в Киеве.

Соколов в ответ стал развивать давно выношенную идею о необходимости создания в крупных партийных центрах своих типографий. Он даже подвел под эту идею, так сказать, политэкономическую базу.

– Формы конспиративной организации и работы даны формами производства. Да, да, уверяю вас! Кустарь и ремесленник умирают. И не потому, чтобы они не хотели жить, а потому, что жизнь их перешагивает. И мы должны поспевать за нею. Разве может десяток рабочих центров увязаться в единое целое десятью и даже сотней гектографов? Нет, конечно. Понадобился бы новый средневековый период. А хорошая типография увяжет сотни рабочих центров. У нас многие, с позволения сказать, умники ныне пренебрежительно говорят, что это будет техническая увязка. А им, видите ли, нужна другая – идейная. Глупые кроты, через которых шагает жизнь, а они не видят ее.

Да, типографии нужны. Такие, как в Баку. Типографии, где можно было бы печатать ту же «Искру» или иной центральный орган прямо с матриц.

Дубровинский уже не жалел, что зашел сюда, в мезонин Мирона. И в таких тихих и, казалось бы, богом забытых городках, в тесных партийных квартирках можно почерпнуть очень многое для понимания практики партийной работы, столкнуться с жизнью, найти людей думающих, искренне болеющих за дело и, чего греха таить, иногда идущих впереди тех, кто там, за границей, казалось бы, делает погоду.

Да, не хватает партии практиков, организаторов, которые бы ежедневно, ежечасно были бы в деле, были бы связаны с комитетами, с рабочей массой.

Утром разбудил взъерошенный Брилинг. Дубровинский слышал, как он взволнованно говорил Мирону, что Леонида, видимо, выследили, схватили, нужно скорее все бросать и спасаться.

Соколову ничего не оставалось, как расхохотаться.

Брилинг ушел обиженный и даже не попрощался.

Дубровинский не стал дольше задерживаться в этом городе, к чему искушать судьбу.

С Мироном простился тепло, уверенный, что еще не раз их столкнут жизнь и практика революционной борьбы.

Василий Николаевич Соколов рассказал о встрече с Дубровинским много-много лет спустя после того, как она произошла. Рассказал по памяти. И конечно, слова, которые он вкладывает в уста Иосифа Федоровича, – это только пересказ **Мыслей,** темы бесед. Но это написано сочно.

А мысли Василий Николаевич помнил хорошо. И ему запал в сердце образ труженика партии.

Глава IV

Известие о начале войны с Японией застало Иосифа Федоровича в дороге.

Это была страшная весть. Где-то там, далеко на востоке, уже героически погиб крейсер «Варяг», уже льется кровь. Но это только начало. Война потребует сотни тысяч человеческих жизней. Война в интересах русского капитала, во имя царских прихотей и, конечно, «врачующее» кровопускание российскому пролетариату и крестьянству, дабы обессилить их, отвлечь от революционной борьбы.

Дубровинский поспешил в Самару. Война преобразила некогда тихие приволжские станции. Шум, гам, пьяные песни и неутешные рыдания, плач детей и хриплые окрики унтеров врывались в вагон, стоило только поезду подойти к перрону. Кое-где новобранцев и запасников провожали не только плачущие жены, матери, дети, но и представители «общества». Они выползали из станционных буфетов и ресторанов, разопревшие, лоснящиеся, в лисьих шубах нараспашку. Нестройно кричали «виват» и спьяну лезли целоваться к солдатикам. Кое-кто даже пытался произносить квасные речи. От них, как от навозных жирных мух, отмахивались тоже пьяные новобранцы и бородатые запасники. Церковный синклит благословлял теплушки, в которых вместе с лошадьми двигались на восток, на бойню обреченные.

Эти картины потрясли Дубровинского. Приехав в Самару, он первым долгом засел писать листовки, листовки против войны, против кровавых мерзостей царизма.

Самарский комитет выпускает листовку за листовкой.

«Слишком дорого стоит уже русскому трудящемуся люду ненужная и неведомая ему Маньчжурия!

Долг каждого разумного человека – громко высказать свое негодование, требовать немедленного прекращения этой ужасной войны!..»

«…Требуйте мира!

Долой войну! Долой самодержавие!»

Являясь представителем ЦК в Самаре, Дубровинский делал все возможное, чтобы этот город, все Поволжье стали запевалой в борьбе против войны, а значит, и против царизма. И отчасти самарским социал-демократам это удалось. Они буквально овладели железнодорожной станцией. В каждый проходящий воинский эшелон забрасывались антивоенные листовки.

Какие только меры ни принимали местные власти, чтобы

оградить солдат от соприкосновения с социал-демократами. Солдат из теплушек не выпускали. Пока эшелоны стояли в Самаре, их сторожили специальные воинские команды. К вагонам допускались только железнодорожные рабочие. Но этого было достаточно. Смазчики, ремонтники незаметно подбрасывали листовки. Полиция была бессильна.

Работу социал-демократов облегчало начавшееся брожение среди почти всех слоев общества. Еще среди крестьян, малосознательной части рабочих жива была вера в батюшку царя. Во всех неудачах, во всех безобразиях винили министров. Но если раньше тлились и даже этого не говорили вслух, то теперь уже ничего не боялись. О царе безнадежно добавляли: «Где ему знать, он, поди, газет-то не читает, только от министров и узнает, что делается…»

В общем сходились во мнении, что царь какой-то юродивый, существующий вне жизни. А всей жизнью заправляют министры, чиновники, а они все жулики и казнокрады.

Особенно усердствовала «чистая» публика, рассказывая бесчисленные анекдоты о бездарности генералов, о взятках, хищениях, об одеялах, подаренных Красному Кресту Морозовым и очутившихся на Сухаревском рынке, о корабле с изюмом, который от щедрот своих пожертвовала королева греческая и который «съели крысы» – чиновники. «Чистая» публика в отличие от «серой» честила царя-батюшку на все корки.

Повсюду чувствовалось, что Россия накануне каких-то невиданных событий.

И в это-то время в партии рабочего класса не было единства. Меньшевики раздували склоку. Разброд царил и в ЦК.

Мартын Лядов свидетельствует:

«На съезде в состав ЦК были выбраны Кржижановский, Носков и Ленгник. Ленгник вместе с Ильичем выдержал весь натиск меньшевиков на съезде Лиги и на заседании Совета партии. Вместе с Ильичем в январе 1904 г. он поднял вопрос о созыве нового съезда. Предложенная ими резолюция в этом смысле была отвергнута меньшевистской частью Совета. Совет против голосов представителей ЦК вынес резолюцию, в которой указывал, что корень разногласий в том, что в состав ЦК входят лишь представители от большевиков и что разногласия исчезнут, если большевистский ЦК кооптирует в свой состав меньшевиков.

В ноябре 1903 г., после выхода Ленина из редакции „Искры“… он был кооптирован в состав ЦК. Вместе с ним были кооптированы Красин, Гальперин (Коняга), Землячка и Зверь (М. М. Эссен). Весной 1904 г. Ленгник и Зверь были арестованы, Кржижановский вышел из ЦК, Землячка вошла в состав Одесского

комитета. После этого в состав ЦК были кооптированы еще Дубровинский, Карпов и Любимов».

Да, Иосиф Федорович стал членом ЦК. И он по праву занял это высокое место.

Но ЦК в тот момент, когда Дубровинского кооптировали на заседании в городе Вильно, оказался не на высоте.

Новые члены ЦК, а также Носков из числа первой тройки признали измененный Плехановым состав редакции «Искры». Это означало уступку меньшевикам. Меньшевики были против съезда, которого потребовал Ленин, ЦК распускает Южное бюро РСДРП, высказавшееся за съезд, – еще одна уступка.

Ну, а в отношении Ленина Носков повел себя просто возмутительно. Ленину было запрещено без разрешения ЦК печататься в центральном органе, меньшевики, прибравшие к рукам налаженный большевиками транспорт, всячески тормозили пересылку ленинских работ в Россию. Ленин был лишен и права представлять ЦК за границей.

Когда была издана ленинская работа «Шаг вперед, два шага назад», меньшевики «устроили настоящую истерику и, как свидетельствовал Лядов, тайком вызвали в Женеву одного из наименее стойких членов ЦК – Носкова для переговоров с редакцией. Носков приехал в Женеву с постановлением пяти членов ЦК (Красина, Гальперина, Дубровинского, Любимова, Носкова) против съезда. Он здесь сразу повел двойственную политику.

С одной стороны, он успокаивал Ленина, что весь ЦК, и он в том числе, вполне разделяет принципиальную позицию Ильича, возмущен наглым и беспринципным поведением меньшевиков, только не хочет раскола партии и надеется мелкими уступками успокоить меньшевиков. С другой стороны, он уверял меньшевиков, что ЦК совершенно не одобряет поведения Ильича, что ЦК готов пойти на все уступки, вплоть до кооптации в ЦК меньшевистских кандидатов…»

«Ильич после предложенной им и не одобренной ЦК резолюции за съезд поставил было вопрос об уходе из ЦК и из Совета. Носков всячески упрашивал его не делать этого и считал, что будет целесообразней, если уйдет он, Носков. Ильич послал письмо всем остальным членам ЦК, в котором обстоятельно указывал, что разногласия из чисто личных, какими они были вначале, сейчас все более и более принимают принципиальный характер и что поэтому единственным партийным выходом из положения может быть только съезд. Можно быть уверенным (судя по письмам и сообщениям из России), что не менее восьми десятых съезда выскажется за нас. Впредь до выяснения вопроса в

ЦК представителями его в Совете будут Ленин и Носков. Никто из них в отдельности не имеет права выступать от имени ЦК.

Ильич очень тяжело переживал этот конфликт. Именно в то время, когда ясно наметились уже принципиальные разногласия, когда масса партийных работников на местах уже начинала понимать, что это не простая драка заграничных „генералов“, а глубокой важности разногласия, определяющие весь характер деятельности партии, – в это время шатания, обнаруженные в ЦК, неизбежно грозят разрушить всю проделанную до того работу по сплочению партии».

ЦК обязал своих членов разъехаться по комитетам и агитировать против созыва III съезда.

Против съезда – это означало против Ленина. И конечно, можно представить себе состояние Дубровинского. И все же он был убежден в своей правоте, в правоте ЦК. Такие, как Иосиф Федорович, никогда не колеблются, они принимают решения или – или.

Прежде чем ехать в Харьков, Екатеринослав, Орел и Курск, Дубровинский побывал в Самаре.

Действительно, судьба, а вернее, практика революционной работы сталкивает подпольщиков друг с другом гораздо чаще, чем это хотелось бы по условиям конспирации.

Заведующему транспортно-техническим бюро в Смоленске Василию Николаевичу Соколову запомнились тот вечер и та ночь, которые он провел в обществе Дубровинского.

Когда он рассказывал представителю ЦК о работе бюро, его поразило умение Иннокентия сразу же схватывать основное, главное и уже вскоре ставить вопросы так, словно он сам работает на этом транспорте, добывает паспорта, типографский Шрифт, развозит литературу. Это, бесспорно, природный дар, талант организатора. И Соколов этот дар почувствовал, поверил в него. И они тогда расстались друзьями.

Потом долго не виделись. Настал момент, когда и Соколов почувствовал себя не слишком-то уютно в тихом Смоленске под присмотром жандармского генерала Громяки.

Потом, позже, Мирон теоретизировал:

«Всякий аппарат и всякая организация в процессе работы неизбежно начинают испытывать толчки. Как бы хорошо она ни была построена, как бы гладко ни функционировала, момент начала перебоев неустраним. В нелегальной работе в особенности. Теория вероятностей здесь имеет такое же применение, как и в математике. Данный факт должен был оцениваться… как результат начинающейся изнашиваемости аппарата: явок, квартир, взаимоотношений с окружающими…

…Искушать судьбу бесконечно нельзя. Непрерывное хождение целыми днями по городу между адресами, явками и квартирами в провинциальном городе не может оставаться никем не замеченным. Даже заяц в бору на опавшей хвое наслеживает четкую охотничьему глазу тропинку…»

А тогда, на практике, получилось, что никакие проверки собственных хвостов, ни знакомство с географией проходных дворов не спасли его от слежки. Надо было удирать.

Соколова перебросили на границу, в Каменец-Подольск. И там он все-таки провалился. Но сумел уйти от тюрьмы.

И вот теперь Самара. Волга. Такое чувство, что круг замкнулся. Он родился на берегу этой реки. В Костроме учился, там же начинал и свои первые «противоправительственные деяния».. Потом Псков, Смоленск, Галиция, но от Волги волгарю никуда не деться.

Самара. Городок, конечно, не слишком-то симпатичный. Пыльно, грязно. А ведь на улицах немало зелени. На окраинах простота нравов удивительная. Прямо на завалинке дома лежит себе в послеобеденном сне мужичишка, а на нем и одежды – всего одни невыразимые в розовенькую полоску.

В порту, на товарной пристани, пьяные ломовики спят прямо под телегами на занавоженной булыге.

А в центре… Ну да ладно! Потом приглядится к городу, первые впечатления бывают и обманчивы.

Наверное, город ему не понравился, потому что рассчитывал осесть в Саратове. Это не чета Самаре.

Тоже Волга, но город университетский, красивый, интеллигентный, масса сочувствующих, а значит, деньги, квартиры.

Но транспортное бюро ЦК уже давно основалось в Самаре. Еще Дубровинский в Смоленске о нем рассказывал. Да и то верно, Самара стоит на магистрали, связывающей Россию с Сибирью. Именно по этой Самаро-Златоустовской дороге зайцами или с чужими паспортами, переодетые, от станции к станции пробираются те, кто не пожелал задерживаться в «сибирских тундрах» и на «романовских курортах». Едут и те, чьи сроки пребывания «в местах не столь отдаленных» окончились. Они ищут приюта, они нуждаются в явках, документах, многих нужно переправить за рубеж. И партия должна им помочь.

Ну, а помимо этого, транспортно-техническое бюро обслуживает комитеты от Астрахани до Челябинска литературой, является связующим звеном между этими комитетами, поддерживая связь с помощью своих транспортеров.

Не успел прибыть в Самару, тут же пришлось ехать в Пензу. В

эту эсеровскую вотчину, в эту Мекку кондового мещанства и благополучного обывательства пришел груз литературы.

«Свой человек» в Пензе оказался и милым, и интеллигентным, и ужасно талантливым. Переводчик Маркса и книг о Марксе, свободно владеет четырьмя языками и… неисправимо труслив.

Объемистая корзина с литературой доставлена в его квартиру, остается только ее распаковать, рассортировать… Хозяин надевает шляпу, пальто – и к двери.

– Вы уж, пожалуйста, без меня здесь хозяйствуйте… я… не могу…

– ??

– Я все время буду слышать шорох, шаги, звон шпор… И мне вот непонятно, как вы можете оставаться спокойным. Не обижайтесь, пожалуйста…

И ушел.

Соколов обо всем этом собирался рассказать в Самаре местным комитетчикам. Но потом, когда вернется из Екатеринбурга. А пока поезд стоит два часа в Самаре, нужно успеть на явку.

И неожиданность. За те несколько дней, что просидел в Пензе, в Самару прикатил Иннокентий. Встретил на явке так, словно только вчера попрощались в смоленском мезонине.

Соколов торопливо поведал о неблагополучии в Пензе и не удержался, изобразил в лицах диалог со «своим человеком». Впопыхах договорились о рассылке литературы. И пора на поезд. Но Иннокентий взял за руку.

– Сделайте передышку. На Урал пошлем кого-нибудь завтра же. И нужно поговорить…

Иннокентий выглядел озабоченным. Но Мирон настоял на отъезде.

«И я снова в вагоне. И уже далеко за Самарой начинаю понимать, как он был прав. Чуть не два последние месяца, только с малыми перерывами на день-два, я все еду и еду. Перехожу из вагона в вагон, обтираю одни и те же жесткие деревянные скамьи. Механически разговариваю с одними и теми же пассажирами. И кажется, нет конца-края этому однообразию: даже редкие индивидуальные особенности новых твоих спутников по вагону воспринимаются как уже прошедшие перед тобой раньше. Притупляется взгляд, тупеет голова. Мысли, затхлые и пыльные, медленно ползут, как дождевые черви…»

Соколов не задался вопросом, почему Дубровинский так внимательно приглядывался к нему. А ведь он, может быть, лучше, чем остальные члены ЦК, представлял себе, что означает

эта жизнь на колесах для партийца-подпольщика. И Дубровинский в общей сложности месяцами протирал жесткие скамейки и сутками вел случайные разговоры со случайными попутчиками. И все ехал и ехал, от города к городу, от комитета к комитету. В ЦК он был ни один такой бродяга, и Носков, и Любимов, и Красин тоже разъезжали. Но Носков разъезжал, как он выражался, «носкоками». В ЦК шутили – «бывал в России, пока борода не отрастет». А потом передышка за границей. Красин объехал кавказские организации и с головой ушел в партийные финансы, в дипломатию примиренчества, сидит себе в Баку.

А Иннокентию кажется, что он как сел в вагон сразу же после II съезда, и вот все едет и едет.

Тот же Соколов рассказывал о том, до чего «доездились». Этот разговор они вели в лодке, на середине Самарки. Лодка – надежное убежище для конспиративных переговоров. Катаются себе господа с усами и бородками, ну и на здоровье. На воде полно рыбачьих лодок. И уж ни одна «подметка» не подкрадется.

Соколов заводит снова о Пензе. Его возмущает Носков. Ткнул пальцем в карту где-то там за столиком у Ландольда, а в Россию сей тычок прибыл как директива ЦК – открыть транспортную базу в Пензе. Нелепость.

– Пенза – эсеровское гнездо, – в который раз уж повторяет на все лады Мирон прилипшую к языку фразу, – мелочная торговля, не продохнешь от мещанства. Это рачий садок, наша группа окажется там на виду, как блоха на лысине. И единственный выезд из города – на вокзал.

Дубровинский согласен с Мироном. Правда, ему еще не приходилось непосредственно руководить работой транспортного бюро партии, Астрахань не в счет. Но это только пока не доводилось. А теперь вот довелось. И он поставит эту работу как следует.

Ведь летом 1904 года Самарское бюро приобретало особое значение. В Баку работала «на полную мощность» главная типография ЦК – «Нина». Десятки пудов литературы, газет, листовок. С точки зрения полиграфии – исполнение идеальное. Но отправлять такие грузы из одного и того же города, с одной и той же станции и трудно и рискованно. Железные дороги в связи с русско-японской войной стали работать с перебоями, гражданские грузы идут в третью очередь – литература запаздывает, валяется на складах, портится упаковка, а значит, и растет угроза провала.

Нужно всемерно использовать навигацию на Волге. Множество пристаней, мощный поток грузов. От Волги в глубь России разбегаются рельсовые пути – лучшего не придумаешь.

Соколов все еще витийствует по поводу неудобств Пензы:

– Ясно… И от бюро нельзя далеко отрываться.

– Теперь Самара… Это не город, а базар на перекрестке путей Москва—Сибирь, Рыбинск—Астрахань. Она не стоит, а всегда движется – приезжает и уезжает. И сами самарцы на улице, как в общественной бане, не различают кто свой, кто приезжий… И перевал грузов с воды на рельсы и с рельсов на воду… Плюс бюро… – Соколов, наконец, замолчал.

– Жаль, нет Носкова, он бы согласился без разговоров.

Соколова вновь прорвало:

– Это не все. Группа в Самаре, накладные тоже сюда, а грузы – в Симбирск, Пензу, Сызрань, Астрахань. В результате Баку комбинирует как им удобнее. Получать едем мы…

Решено, они будут воздействовать на Носкова через Самарское бюро и комитет. Нужно только заручиться согласием его членов. У Дубровинского созрел план:

– Пойдем по методу нашего Дядька, сначала поговорим вдвоем, потом присоединится третий. Так лучше, меньше разговоров.

Вечером – у «третьего».

Третий – это Василий Петрович Арцыбушев, «Уральский Маркс», как его любовно величают на Урале. Волжане же оспаривают претензии Урала, поскольку Арцыбушев живет в Самаре и работает в правлении Самаро-Златоустинской железной дороги, они считают, что Маркс не «уральский», а «волжский».

Борода и грива у него и впрямь марксовы. Душа добрейшая. В восторге от плана Иннокентия, вот только…

– Меня ведь перед маевкой опять эти черти запрут, вам надо это иметь в виду. Да и Мирону лучше на некоторое время уехать отсюда. Как-никак, а в Самару жалует сам царь.

Да, конспирировали, конспирировали, а про царя-то забыли. А помазанник заявил, что желает проводить до Сибири эшелон с иконами и махоркой для маньчжурских чудо-богатырей. И вот на всем пути следования его императорского величества идет чистка городов и поселков от подозрительных элементов. Но проводы икон – предлог.

Именно в Самаре создалось такое напряженное положение, что император решил сам побывать в этом городе.

Предупреждение серьезное. И не только Соколову. У Мирона «железка» – паспорт умершего в виленской губернской больнице коллежского асессора Михаила Владимировича Садковского, но и к этому паспорту прикоснулась можжевеловая кислота. Пришлось исправлять год рождения. Пожалуй, лучше самому на время выметаться и не рисковать, что тебя заметут.

У Дубровинского паспорт тоже на чужое имя. И ему также не следует медлить.

Но пока Мирон съездит в Саратов, наладит там связи и заодно получит груз, Дубровинский в Самаре повнимательнее приглядится к Арцыбушеву. Вынужденный отъезд ничего не должен изменить в работе бюро. А Арцыбушеву придется в это время трудиться за двоих.

Первое впечатление от «Маркса» самое отрадное. Но с его именем связана масса анекдотов.

Через несколько дней, прощаясь с Мироном, Иннокентий делился своими впечатлениями об Арцыбушеве:

– Придется вам, видимо, побыть вдвоем с дедушкой. Он редкостный хороший старик, но очень уж здесь заметен! И якобинская психология. Придется быть вчетверо осторожнее – и внешне, и внутренне, и за себя, и за него.

Всего несколько дней понадобилось Иосифу Федоровичу, чтобы понять, уяснить сложный и противоречивый облик Арцыбушева. Иннокентий не расспрашивал старика о его прошлом. Он знал о нем еще по Курску. Но старик рассказывал сам. Когда-то он был курским помещиком. В годину «безумного лета», эпоху «хождения в народ» отдал свою землю крестьянам, обрядился в зипун, лапти и побрел по деревням пропагандировать социализм. Ну и, ясное дело, угодил к жандармам. Дважды его арестовывали и препровождали в сибирские тундры. Настроения молодости, идеи, укоренившиеся в сознании в эти годы, – живучи. Их отголосок и поныне дает себя знать. Ну, а тогда якобинство было в моде. Револьверный лай будил сонную Русь. Народовольцы заявили о себе дерзкими покушениями. И Арцыбушев был дерзок. В Сибири он участвовал в разработке плана фантастического побега – пешком пройти тысячи верст до Великого океана, на его берегу построить корабль и…

Вот и Мирон передавал, что при первом же знакомстве «Маркс» предложил ему взорвать Сызранский мост, и это вполне серьезно.

Во второй ссылке Арцыбушев наткнулся на «Капитал». И с тех пор уже не расстается с ним. Злые языки утверждают, что волжско-уральский Маркс дальше первого тома «Капитала» не продвинулся, некогда было. Василий Петрович обижался, бурно спорил с маловерами, потом подсчитывал, сколько же часов, дней, месяцев он провел за чтением «Капитала». Сделать эти подсчеты было нетрудно – Арцыбушев читал «Капитал» напролет целыми днями, когда попадал в тюрьмы. А попадал он часто. В последние годы его сажали всякий раз накануне 1 Мая.

Да, нелегко придется Мирону. Местные товарищи из Самарского комитета, знавшие Арцыбушева больше, чем Дубровинский, любили старика и все наперебой, кто со смехом, а кто и с ласковой укоризной, говорили о его чудачествах.

Как старый народник, он конспирирует всегда и везде, это у него въелось в кровь и плоть. Но конспиративности мешают темперамент, непосредственность и, конечно же, годы. Бывает так – выставит по всем правилам конспирации на окнах предупредительные сигналы – горшки с цветами, а потом забудет снять. И удивляется, негодует, почему это к нему никто из товарищей не заходит.

Или того лучше: настороженно идет по улицам, тихонько оглядывается, ныряет в проходные дворы и даже через заборы шастает – это при его-то возрасте! В общем принимает все классические меры против шпиков. Но стоит повстречаться кому-либо из товарищей, действительно скрывающихся от полиции, орет на всю улицу, лезет обниматься. Вот тебе и конспирация! Да ведь его, бородатого, каждый мальчишка в Самаре знает, что уж там полиция!

Внимательно приглядываться к людям, изучать их – это уже вошло в привычку. И пожалуй, у партийного организатора умение разглядеть человеческую суть – главный талант, основное качество. Понять сразу, чем человек дышит, с кем идет, на что способен, не в этом ли залог успеха при определении места этого человека в партийной работе?

Мартын Николаевич Лядов по заданию Ленина объезжал российские социал-демократические комитеты, знакомился с постановкой работы на местах, настроениями и вел агитацию за созыв III съезда. Вояж был долгий: Петербург, Тверь, Москва, Нижний, Тула, Уфа, Челябинск, Иркутск, Томск, Чита.

Впечатлений уйма, и они самые пестрые. Эти впечатления Лядова тем более интересны, что, видимо, точно такие же складывались и у Дубровинского в его поездках по комитетам.

Но Дубровинский не оставил воспоминаний, а Лядов оставил.

«Я год с липшим перед тем провел за границей и прямо поразился, насколько выросли наша партия и рабочее движение за это время. Наряду с официальными комитетчиками, которых мы знали по переписке с заграницей, вырос уже мощный слой убежденных партийцев социал-демократов, которые вели большую, глубокую работу в массах. Заграничная литература, над отправкой которой мы так много трудились, представляла буквально каплю в море той литературы, которая создавалась, печаталась и распространялась на местах. Но всюду, где мне приходилось бывать, я встречал жалобы на отсутствие

руководства. Меньшевистская „Искра“ руководить не может, она путается, там не найдешь определенной, твердой линии. Про ЦК мало слышно, ни членов его, ни агентов на местах не видно. Связь с ним слабая. Руководящих листков ЦК не выпускает. Заграничными делами интересуются все, но очень мало знают о них. Совершенно не понимают, как это мог Плеханов уйти к меньшевикам, к этим болтающим интеллигентикам, которые здесь на местах никакой работы не ведут, всюду затевают склоку, всюду стремятся пролезть в комитетчики. Вот этот распространившийся тип проныры-интеллигента, приехавшего из-за границы, претендующего на руководящую роль и совершенно не умеющего работать, вызывал в партийных массах антипатию к меньшевикам.

Всюду, где мне приходилось выступать – а я старался не ограничиваться докладами комитетчиков, а проникать глубже в периферию, – всюду единственным средством изжить партийный кризис считали возможно более быстрый созыв нового съезда.

…Рабочим-партийцам в повседневной будничной обстановке, за работой, за отдыхом в общежитиях фабричных казарм приходилось сталкиваться с рабочей массой, приходилось непосредственно руководить все более разгорающейся экономической борьбой. Именно в этой повседневной борьбе все более и более популяризировалась наша принятая на съезде программа. На нее все более привыкли смотреть как на свою рабочую программу. Отдельные ее пункты, в особенности программы-минимум, все чаще фигурировали в предъявляемых во время забастовок требованиях.

…Для меня было ясно, что Россия 1904 г. совсем уже не та, что Россия 1902 г. На каждом шагу чувствовалось, что мы накануне больших событий. Особенно остро чувствовалась ненависть к меньшевикам, помешавшим нам создать единую централизованную партию, которая могла бы встать во главе этих надвигающихся событий. Без единой, сплоченной партии руководить пробуждающейся политической жизнью всей России мы не можем: жизнь пойдет помимо нас, а нам придется плестись за ней. Во время этих случайных разговоров с представителями всех слоев общества я укреплялся в мысли, что нам надо создавать свою партию».

Заехал Лядов и в Самару. Об этом его настоятельно просил Ленин. Владимиру Ильичу еще в начале 1904 года стало известно, что Дубровинский занял примиренческую позицию. Это было очень обидно. Иосиф Федорович так хорошо себя зарекомендовал как прекрасный организатор, он так настойчиво отстаивал решения II съезда, что его примиренчество было

неожиданным и непонятным.

Владимир Ильич очень хотел, чтобы Дубровинский перебрался в город Екатеринослав, крупнейший промышленный центр Украины, и возглавил там социал-демократический комитет.

В Екатеринославе охранке удалось напасть на след комитета и арестовать большую часть его членов. Дубровинский был именно тем человеком, который мог восстановить комитет, мог наладить его связи с рабочими.

Еще 17 февраля 1904 года Надежда Константиновна в письме к Дубровинскому пыталась, так сказать, «наставить его на путь истинный», поправить, пока он окончательно не запутался в тенетах примиренчества.

«Дорогой тов.! Вы ничего не пишете нам, и мы знаем лишь из письма товарищей, что Вы настроены мирно и думаете, что путем уступок можно добиться еще мира в партии… Меньшинство не успокоится, пока не возьмет в руки все и не задушит большинства. Когда член ЦК (Кржижановский. – *В. П.)* приезжал для переговоров, он шел на всяческие уступки, превышал даже свои полномочия…»

Тут же была просьба Ленина к Дубровинскому, чтобы тот поехал восстанавливать Екатеринославскую социал-демократическую организацию.

Этого письма Дубровинский, видимо, не получил. Трудно представить, чтобы Иосиф Федорович, пунктуальный, исполнительный, не внял просьбе Ленина, ведь Крупская писала по его поручению.

Не дошло до него и следующее письмо, от того же февраля 1904 года. Видимо, Владимира Ильича очень тревожило состояние партийной организации в Екатеринославе.

«…В Екатеринославе провал. Зверь (М. М. Эссен. – *В. П.),* Курц (Ф. Б. Ленгник) и Ленин очень просят Вас поехать туда для налаживания дела, туда нужен хороший организатор».

Эта последняя фраза письма очень важна для характеристики Иосифа Федоровича. Уже в начале 1904 года Ленин был уверен, что Дубровинский действительно «хороший организатор».

И Владимир Ильич судил не только на основании отзывов товарищей, он был хорошо информирован о положении дел в большинстве российских комитетов. Знал, где побывал Дубровинский и с какими результатами.

В том, что основная масса российских комитетов РСДРП поддерживала резолюции большинства II съезда, есть значительная доля и усилий Иосифа Федоровича.

Мартын Лядов с трудом ушел от шпиков в Туле. На вокзале,

уже после того, как тронулся скорый поезд, он вскочил без билета в вагон второго класса. У Лядова не оказалось достаточной суммы, чтобы заплатить за проезд, но проводник оказался покладистым – за рубль он согласился довезти Лядова до Серпухова. А ведь Мартын Николаевич собирался в Самару. Но главное, что ушел от слежки.

В Серпухове Лядов спокойно пересел на самарский поезд.

«В Самаре у меня, помню, была явка к зубному врачу. Через него связался с Иннокентием (Дубровинский) – представителем ЦК – и с Арцыбушевым (Карлом Марксом). Оба (увы! Их уже нет в живых) были замечательными товарищами. Иннокентий был цельным человеком, который весь жил интересами партии и революции. Это был настоящий организатор. С ним можно было спорить, можно было не соглашаться, но нельзя было не уважать его. Тогда мы с ним сильно поспорили. Он считал Ильича неправым. Правда, говорил он, эти меньшевики – сволочь порядочная. Но черт с ними, ради единства партии им необходимо уступить. Говорить сейчас о съезде безумно. Съезд неизбежно приведет к расколу. Дубровинский настаивал на том, что принципиальных разногласий нет еще между большевиками и меньшевиками, но их стараются выдумать и раздуть обе стороны. Лучший выход – это чтобы Ильич вошел в редакцию. Там он, несомненно, опять подчинит себе бесхребетного Мартова. Аксельрод работать не будет, а с Плехановым Ильич сможет сработаться.

Я старался доказать Дубровинскому, что дело далеко не так просто. Новая „Искра“ с каждым номером все больше скатывается к „экономистам“. Там сейчас тон задает не бесхребетный слизняк Мартов, а очень твердый и очень самостоятельный Дан в компании с убежденным оппортунистом Мартыновым. В редакции Ильичу не дадут возможности проявить себя. Его по всем вопросам будут майоризировать. Правда, спор идет пока только по организационной линии, но весьма вероятно, что принципиальные разногласия обнаружатся и в тактических вопросах. В вопросе об отношении к либералам съезд не зря не мог договориться. Это не случайность.

Дубровинского я не переубедил, он остался при своей точке зрения и действительно скоро начал решительную, так называемую „примиренческую“, кампанию. Дубровинский был убежден, что эта кампания нужна была в интересах партии. Он готов был на все, вплоть до разрыва с Ильичем, которого он очень ценил, чтобы спасти единство партии. Говоря с Иннокентием, я особенно жалел, что не сумел переубедить его. Как хорошо было бы, если б он шел с нами».

Конечно, приезд делегата съезда, посланца Ленина, партийца, который объехал большинство комитетов РСДРП и хорошо знает настроения, требования тех, кто изо дня в день ведет кропотливую работу на заводах, фабриках, в воинских частях, – событие для самарских социал-демократов.

Поэтому Самарский комитет решил устроить митинг с участием рабочих самарских предприятий.

«Прочно врезался в память ночной митинг по ту сторону Волги. Выезжали мы с разных пристаней на лодках, как будто для прогулки. Шумно, весело было в отдельных лодках, переполненных молодежью. Звонко неслись волжские песни. Долго шныряли лодки вдоль берега, затем одна за другой потянулись, когда совсем стемнело, к берегу. Приставали в разных местах, а затем шли далеко вглубь. Там ждали нас в лесу большие костры. Волга только недавно очистилась ото льда. Она широко разлилась. Костров не видно из города. Патрули наши берегут митинг от непрошеных гостей. Всю ночь провели у костров, в задушевной беседе. Никому не хотелось расходиться. Такими свободными чувствовали мы себя все! Не хотелось думать, что по ту сторону Волги, может быть, ждут уж нас сыщики. Утром рано переправились обратно. Меня и всех, кто уже был на примете у полиции, высадили далеко от города. Мы оттуда поодиночке возвращались по разным улицам».

Да, случилось так, что Иннокентий разошелся с Лениным по вопросам внутрипартийной борьбы и стал «примиренцем». Но Лядов заблуждался, говоря о том, что Дубровинский не с ними, не с большевиками. Он, что бы ни случилось, и даже при разногласиях с Лениным оставался большевиком.

Крупская, знавшая Иннокентия гораздо лучше, чем Лядов, очень точно, тонко ставит диагноз его примиренческого недуга.

«Не все примиренцы были на одно лицо. Были примиренцы-дипломаты, были примиренцы, которые вообще по натуре своей боялись борьбы, резкой постановки вопросов, старались сгладить углы.

Иннокентий не боялся борьбы, он был твердым большевиком во всех вопросах, не касающихся внутрипартийной борьбы, он был человеком искренним, но во внутрипартийных делах он все мерил на свой аршин, он просто не мог поверить, чтобы Мартов, Плеханов, Засулич могли окончательно уйти от партии революционной социал-демократии».

Все эти оценки будут даны позже, когда примиренчество, внутрипартийная борьба накануне первой русской революции станут уже достоянием истории, когда улягутся страсти, а время вытравит предубежденность и полемический задор. Но летом—

осенью 1904 года и страсти кипели, а задора было больше, чем допускает разумная деловая полемика, и, наконец, конъюнктура того дня, практика революционной борьбы как будто свидетельствовали о правоте примиренцев, а не Ленина, глядевшего вперед, в будущее.

И наверное, не случайно, что в Центральном Комитете за примирение стояли именно те большевики, которые непосредственно участвовали в практическом построении партии, ее комитетов, ее техники. Тот же Соколов попытался образно пояснить, как же, на какой почве выросло примиренчество ЦК, примиренчество Иннокентия и Красина, Марка Любимова, Носкова и других.

Подводя итог полуторагодовой деятельности русского ЦК после II съезда, он, будучи агентом ЦК, близко стоящим к его практической деятельности, имел право писать:

«Объективно, теоретически – это был кризис полуторагодовой практики съездовского большинства. Она вытекала из правильных установок старой ленинской Искры, строилась преданными учениками Дядька. И строилась умело, добросовестно, с увлечением, вопреки и в противовес послесъездовской новой Искре. Она собирала партию, сплачивала вокруг нее массы, воспитывала актив…

Но когда армия непрерывно и обильно пополняется новобранцами и кадровый состав в ней уже тонет – это сырая армия. Она не знает воинского устава, утрачивает способность быстрых мобилизаций, быстрой перестройки в боевые колонны.

Увлечение рекрутскими наборами загораживает необходимость обучения новобранцев воинскому уставу. В этом трагедия Бориса (Носкова. – *В. П.),* Никитича, всего русского ЦК – в забвении организационных принципов рабочей классовой армии.

Дядько тревожно предупреждает сейчас же после второго съезда:

– Разногласия, разделяющие революционное и оппортунистическое крыло нашей партии, в настоящее время сводятся главным образом к организационным вопросам! Изучайте протоколы съезда!

Русский ЦК беззаботно отвечает:

– С этим еще терпит. Надо скорее наладить практику организаций, организующие средства – технику, транспорт!

Дядько настойчиво указывает:

– Новая система воззрений в новой Искре есть оппортунизм в организационных вопросах! Торопитесь с размежеванием!

Русский ЦК, увлеченный успехами практики, досадливо

отмахивается:

– Не система воззрений, а заграничное умничанье! В России хозяин положения – мы, большинство. Рабочие массы распирают именно наши организации. Нет сил для их освоения, не хватает литературы… Время ли умничать? Не лучше ли перенять в свои руки и технику меньшинства: это подчинит и самое меньшинство нашей, вполне себя оправдавшей, практике!

И русский ЦК начинает переговоры с меньшинством.

Дядько исчерпал меры товарищеского воздействия на своих ближайших учеников. Они незаметно для себя отходят от учителя в сторону его противников. Он с боем требует и начинает добиваться экстренного съезда.

Русский ЦК ставит ему ультиматум и форсирует переговоры с меньшинством. Не для предательства большинства, а для его вящего торжества – так он думает.

…Но говорят недаром, что хорошими намерениями мостится ад. И если во всякой ереси скрывается зерно истины, то по законам диалектики это значит, что и во всякой истине скрывается зерно ереси.

Постепенно и незаметно блестящая революционная практика русского ЦК из средства сделалась самоцелью. И сейчас же выявила зерно убогой реакционной теории примиренчества, переросшего затем в чистый оппортунизм: ставка на количество, на массовика, на осторожного рабочего-середовика, для которого самое ценное – практика».

Соколов поставил все точки над «и». Но летом 1904 года Дубровинский еще только начинал «примиренческую кампанию». Начинал и мучился, он был убежден в своей правоте, но почему же Ленин с этим не согласен? Такого аргумента, как «Ленин – против», было достаточно, чтобы мучиться, искать ошибку в своих воззрениях и у тех, кто их оспаривает. И наверное, не раз на ум приходила мысль: а не авантюра ли все это? А если так, если савантюрили с ультиматумом Ильичу, с июльской декларацией?

Ведь постановление было принято противозаконно, без ведома двух членов ЦК – Владимира Ильича Ленина и Р. С. Землячки.

Декларация лишила Ленина права заграничного представительства ЦК, запретила печатать его произведения без разрешения коллегии ЦК.

Это означало, что Ленин лишен возможности отстаивать в ЦК позиции большинства партии. Но ведь тогда это не что иное, как измена решениям II съезда РСДРП со стороны членов ЦК, переход их на сторону меньшевиков.

Но Дубровинский возмутился, если бы его назвали

меньшевиком.

Невесело с такими мыслями, с такими настроениями объезжать комитеты и агитировать против съезда.

Дубровинский побывал в Харькове и сумел добиться резолюции Харьковского комитета, отвергающей съезд.

Но это был первый и последний успех его примиренческой миссии.

Екатеринославский комитет не пошел за Дубровинским, а высказался за созыв съезда. И Орловский и Курский.

Этого Иосиф Федорович никак не ожидал. Где-где, а в Орле и Курске он пользовался, кажется, непререкаемым авторитетом. Он был уверен, что эти комитеты без излишних дискуссий примут решения, которые он им подскажет. Но вышло все наоборот. И дискуссий было более чем достаточно, и комитеты не послушались своего именитого земляка. Они высказались за съезд.

Позже и Самарский комитет принял такую же резолюцию.

Встреча с Розалией Землячкой в Петербурге, известие о том, что за границей прошла конференция 22 большевиков, высказавшихся за съезд, что создан практический центр и редакция нового органа, который под руководством Ленина будут редактировать Боровский, Ольминский, Луначарский, окончательно убедили Дубровинского, что он не прав в своем отстаивании примиренчества.

В это время и в России одна за другой собираются конференции. На юге представители Одесского, Николаевского, Екатеринославского комитетов одобрили все решения 22-х, высказались за съезд. В ноябре 1904 года в Колпине собралась конференция представителей Рижского, Петербургского, Московского, Нижегородского, Северного и Тверского комитетов.

Эти конференции утвердили и кандидатов в практический центр – Гусева, Землячку, Богданова, Литвинова и Лядова.

«Таким образом родился первый большевистский центр, названный Бюро комитетов большинства, и первая большевистская газета, названная „Вперед“», – вспоминает Лядов.

Видимо, Землячка поставила перед Дубровинский вопрос: с кем он? И внутренне Иосиф Федорович уже был подготовлен к ответу. Он действительно изжил, перестрадал свое примиренчество. Он понял, в какой тупик может оно загнать партию накануне надвигающихся грозных событий.

Война «маленькая и победоносная», на что надеялся царизм, превратилась в затяжную и позорную для русского самодержавия. Русским солдатам порой действительно приходилось чуть ли не шапками драться с японцами. Японцы же закидывали русские

войска снарядами.

Царизм сделал «кровопускание» русскому народу, но не обессилил его, а еще больше озлобил. И теперь уже не только большевики заговорили о близости революции. Отвлечь, отвести в сторону удар, оглушить российский пролетариат – вот о чем мечтали царские чиновники, охранники. И готовили этот удар исподтишка. Готовили при помощи провокаций – испытанных зубатовских методов.

Отказавшись от примиренчества, Иосиф Федорович не вернулся в Самару. Он остался в столице. С примиренческим ЦК его теперь связывала только формальная принадлежность. В комитетах, настроенных на созыв съезда, к нему относились недоверчиво. Но Дубровинский не обижался. Совершил ошибку – исправляй.

И он вновь окунулся в организационную работу на фабриках и заводах Петербурга. Видимо, в тот момент именно большевистскою руководства не хватало рабочей массе. Иначе вряд ли подлое гапоновское «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга» могло бы так тлетворно действовать на значительный отряд столичного пролетариата.

Дубровинский и другие большевики прикладывали все силы, чтобы повернуть рабочих лицом к подлинно революционной борьбе, оторвать их от гапоновского искуса.

Гапоновцы были прямыми продолжателями «дела» Зубатова. Сам московский охранник впал в немилость и был отрешен от должности, но сказать последнее слово в этой провокационной возне еще предстояло Гапону.

В 1904 году его «общество» насчитывало 9 тысяч членов. Правда, членские взносы платили едва ли более тысячи человек.

Зубатов еще рассчитывал на прорастание ядовитых побегов «полицейского социализма», Гапон не верил в него, временное ослепление рабочих он спешил использовать для кровавой, невиданной по своим масштабам провокации.

Глава V

Трактир «Старый Ташкент» давно стоял заколоченный, сохранились только память о нем и странное название. Но вот в начале 1904 года в «Старом Ташкенте» закопошились люди, вычистили, выбелили здание, а 30 мая объявили о первом заседании «Собрания русских фабрично-заводских рабочих» Нарвского района.

Старый трактир стал центром внимания. Как-никак, а «Собрание» было разрешено полицией, во главе его стоял поп.

Чудно! Непривычно, интересно!

На первое заседание набилась тьма-тьмущая народу – путиловцы, треугольниковцы, тентеловцы, екатерингофцы. Явился и поп.

Его звали Георгием Гапоном. Худой, небольшого роста. Голос звучный, но вкрадчивый.

Необычное состояло в том, что слова о боге и любви к ближнему шли у него вперемежку со скорбными сетованиями по поводу бедности, темноты, страданий и нужд работного люда. И столько было в этих словах «чувства», так влажно блестели глаза, так хватали за душу призывы к лучшей жизни, к объединению, взаимной помощи, что многие украдкой, а другие и открыто, не таясь, утирали слезы.

Потом отслужили молебен. Артисты читали, пели.

И никакой политики – таков девиз Гапона.

…В «Старом Ташкенте» людно: игры, танцы, тихая читальня и шумная чайная без водки и пива.

И хвалебные, восторженные вирши путиловского поэта Василия Шувалова:

За что восстания велись всегда,
У нас так просто это достается,
Невольно подивишься иногда.
Рад будет каждый с нами подружиться,
Когда придут те добрые года
И знамя мира и согласья водрузится
Меж капитала и между труда!

Именно эту цель – мир между капиталом и трудом – и преследовал Гапон.

Для капитала мир означал возможность беспрепятственной изощренной эксплуатации, для труда мир был капитуляцией,

смертью.

Попу хотелось «свить среди фабрично-заводского люда гнезда, где бы Русью, настоящим русским духом пахло, откуда бы вылетали здоровые и самоотверженные птенцы на разумную защиту своего царя». Но «птенцы» понемногу оперялись и начинали разбираться в том, что поп – попросту полицейский провокатор.

И стремились вытащить из гнезда охранки тех, кто еще верил в мир, в батюшку царя и доброго попа.

Нелегко было бороться с «полицейским социализмом».

По заданию партии в гапоновское «Собрание» вошли и социал-демократы, большевики. Но не всегда удавалось им выступить перед рабочими. Ведь трудно было говорить только о человеческих нуждах, о том, что мастера на заводах людей не по именам, а по номерам называют, что вдовы рабочих для прокорма детей своих по столовым бродят, объедки собирают. Ораторы-большевики стремились раскрыть рабочим глаза, показать главного их врага – царизм.

Но о царе худо говорить не давали. Гнали с трибуны.

Приходилось выбирать слова, идти окольными путями. Большевики были настойчивы. Они хорошо понимали, что обманутые попом рабочие очень скоро освободятся из-под его влияния, как только дело дойдет до столкновения с администрацией и полицией.

А дело шло к тому.

Началось на Путиловском.

Как всегда, мастер вагонного цеха обсчитал рабочего. И когда потерпевший потребовал от него объяснения, мастер уволил его за «неусердную работу». Затем были уволены еще трое.

Все четверо были членами «Собрания русских фабрично-заводских рабочих», все четверо помнили призыв Гапона «к объединению, взаимной помощи, братству…».

И обратились за помощью.

Социал-демократы подсказали: нужно требовать, чтобы уволенных возвратили на завод, а вынужденный прогул оплатили. Другие рабочие вспомнили о плохой вентиляции в кузнице.

«Артиллеристы» жаловались на сверхурочные и воскресные работы, паровозники – на вечные обсчеты.

Зрела стачка.

Гапон метался. «Собрание» бушевало. Большевики звали к стачке.

Гапон тоже проголосовал за нее. Иначе лишился бы доверия, авторитета, руководства.

Но была одна оговорка: объявить стачку в случае, если администрация Путиловского завода откажется вернуть на работу уволенных.

Администрация отказала трижды.

И утром 3 января 1905 года завод забастовал.

12 тысяч рабочих через своих депутатов, а их было избрано 37 человек, предъявили требования:

1. Введение 8-часового рабочего дня.
2. Работа в три смены.
3. Отмена сверхурочных работ.
4. Повышение платы чернорабочим: мужчинам – с 60 коп. до 1 рубля, а женщинам – с 40 коп. до 75 коп. в день.
5. Улучшение санитарной части на заводе.
6. Бесплатная врачебная помощь заводских врачей заболевшим рабочим.

Пока делегаты спорили с директором, путиловцы разбрелись по заводам столицы, всюду агитируя поддержать их всеобщей забастовкой.

Большевики Петербурга выпустили листовки.

«Товарищи! Не отступая от наших требований, мы должны предъявить новые требования. Пусть соберутся представители от всех цехов и сообща обсудят, чего нам нужно теперь требовать. Пусть они обратятся к рабочим других заводов и предложат им забастовать и вести борьбу вместе с нами.

Да здравствует стачка!

Да здравствует борьба за освобождение рабочего класса!»

Наступил четверг, 6 января.

В нарвском отделе «Собрания» полным-полно. Все говорят, перебивают друг друга, делятся впечатлениями, у всех приподнятое настроение.

Ждут Гапона, который вместе с делегатами объезжал правление общества Путиловских заводов, министерство юстиции, градоначальника.

Все время хлопают двери «Старого Ташкента», и с улицы врываются морозный январский ветер и новые известия…

6 января день крещенского водосвятия. Самый торжественный обряд в дни церковного празднования – богоявления. И полдня гремел салют.

Василеостровский салют долетел до Нарвской заставы.

В «Старом Ташкенте» все еще ждали Гапона. Многие возмущались батареей его величества. Она пальнула картечью по царскому шатру на льду Невы.

Большевики радовались: салют прозвучал не в честь царя, а в честь рабочих, он бросал вызов Зимнему дворцу.

Когда в Зимнем царь отходил ко сну, в «Старый Ташкент» приехал Гапон. Вид у него был растерзанный, но глаза горели.

Поп хоть кому мог преподать уроки актерского мастерства.

– Все законы попраны! Правды искать негде! Чиновники-казнокрады, судьи неправедные и капиталисты, жадные до прибылей, каменной стеной окружили трудовой люд, и нет ему ни пути, ни выхода. К кому же нам теперь идти?

Зал изнемогал от тишины, от слез, таившихся внутри.

– Мы все дети одного отца – царя. Пойдем прямо к царю. Расскажем ему все… Он поймет…

И зал прорвало.

В минуту экстаза была забыта Ходынка, расстрел обуховцев, все кровавые злодеяния кровавого царя.

Он вставал перед внутренним взором измучившихся людей последним призраком последней надежды. В этом порыве утонули голоса здравомыслящих. Совладать с этой стихией было нельзя.

И большевикам не удалось отговорить рабочих. Но удалось вставить в выработанную ими петицию социал-демократические требования программы-минимум.

Три дня в «Старом Ташкенте» обсуждалась петиция к царю.

«Государь!

Мы, рабочие и жители г. С.-Петербурга разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать.

Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества; нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению…»

И дальше, в перечислении мер, которых рабочие ждут от царя, проявилось чрезвычайно интересное преломление в умах массы или ее малосознательных вождей программы социал-демократов.

Свобода слова, печати, совести, амнистия политзаключенным, отмена косвенных налогов, 8-часовой рабочий день, свобода профессиональных союзов.

По всему рабочему Петербургу обсуждалась петиция.

Весь рабочий Петербург бастовал. Стачка, начавшаяся 3 января на Путиловском заводе, разыгрывается в одно из наиболее величественных проявлений рабочего движения.

В канун рокового воскресенья Петербургский комитет

большевиков сделал последнюю попытку предупредить рабочих, превратить мирное шествие в революционную демонстрацию, а быть может, и в начало вооруженной борьбы.

Но тех, кто призывал запастись оружием, стаскивали с трибуны. Запасались праздничными платьями. Ждали утра, не ложась спать.

9 января. Петербург. Утро.

Со всех сторон с окраин с тихим пением псалмов мимо конных патрулей, осеняя крестным знамением царские портреты, к дворцу идут толпы обездоленных.

Ко дворцу их не пускают.

На заставах, на улицах запели сигнальные рожки. Но люди поют громче. Они даже не сразу расслышали залпы.

Петербург гремит выстрелами и окутывается пороховым дымом.

9 января. Петербург. Вечер.

Кажется, что город захватил неприятель и его конные и пешие патрули охраняют черное безмолвие.

Жизнь притаилась за стенами домов.

В каждом, без исключения, говорят только об одном – о сегодняшнем дне.

Его символом стала кровь на снегу и пробитые пулями, изодранные казацкими нагайками портреты царя, царицы, церковные хоругви.

Трупы уже успели убрать.

Приоткрываются шторы окон, глаза прощупывают тьму.

Господа из гостиных чуть ли не с упоением говорят об утренней «баталии», любовно живописуют мертвую старуху с выскочившими на панель от удара шашкой глазами, улыбаются, как анекдоту, рассказу о мальчике, снятом пулей с дерева и упавшем в сугроб головой. «Одни ноги так и застыли…»

Петербург переживает воскресную трагедию.

Плачет Выборгская сторона, стон стоит на Васильевском острове, рыдают каморки, бараки, подвалы.

Плачут.

Еще утром заботливые руки женщин обрамляли гирляндами бумажных цветов портреты царя.

Те же руки в ярости сорвали гирлянды вместе с портретами.

Плачут без слез, их уже выплакали. Без слез дают клятву и тушат лампады у образов.

И многим не верится, что это только вечер того же воскресного дня 9 января, в утро которого с верой, надеждой, с протянутыми руками шли они к царю.

Нет больше веры в царя. Вечером 140 тысяч петербургских

манифестантов и несколько миллионов российских тружеников уже надеялись только на себя.

Один день!

Но «революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни».[3]

Скорбь уступила место гневу, руки, воздетые к небесам, потянулись за оружием. Царизм сам подал сигнал рабочим.

На Васильевском острове по мостовой булыге с грохотом катились бочки, выламывались ворота домов, срывались вывески магазинов, летела из окон мебель.

Росла первая баррикада первой русской революции.

Правда оказалась на стороне большевиков. Нет, не мирные шествия, а непримиримая классовая, гражданская война с оружием в руках может привести к победе.

Царизм не в первый раз, хотя впервые столь нагло, открыто, применил оружие против мирных людей.

И «мирные» могли ответить ему только тем же.

Ночью 10 января городовые отсиживались за закрытыми дверями: боялись нападения. Рабочие добывали оружие.

Но рабочему классу еще предстояло научиться применять его в бою.

9 января Дубровинский шел вместе с рабочими. Шел, уже зная, чем окончится это шествие. Шел, рискуя получить пулю или быть зарубленным казацкой шашкой. Шел, так как не мог не идти, не хотел отсиживаться.

Это шествие к Зимнему – расплата за развал работы в социал-демократическом комитете столицы. Это и его былое примиренчество.

Он шел и потому, что знал, если останется жив, то уже вечером будет строить баррикады, добывать оружие, сколачивать рабочие дружины. Он шел вместе с другими большевиками столицы. Меньшевики избрали роль зрителей и свидетелей.

Дубровинский уцелел. И вечером 9 января действительно строил баррикады, добывал оружие, формировал рабочие отряды.

Необходимость нового съезда партии теперь, в условиях начавшейся революции, была столь бесспорна, что Дубровинский не считал себя вправе заниматься только повседневной, текущей работой. Пусть даже важной, но легко исполнимой другими товарищами. Работой на столичных фабриках и заводах. Ведь он член ЦК, и Центральный Комитет не должен остаться в стороне от созыва съезда.

Необходимо созвать Пленум ЦК. И хватит говорильни. Пора практически реализовать требования о созыве съезда.

Эти мысли Дубровинского совпали с мыслями и настроениями Леонида Борисовича Красина и еще пятерых членов ЦК. Центральному Комитету принадлежит право выносить постановление о созыве съезда. И он должен его вынести.

Они соберутся в Москве. Известный писатель Леонид Андреев любезно согласился предоставить в их распоряжение свою квартиру.

И Дубровинский не стал засиживаться в Петербурге. Он поспешил в Москву, завернув по дороге в Орел.

В Орле «общество» шушукается и тихо паникует. На улицах вспыхивают и гаснут быстротечные митинги – мастеровые, учащиеся, кто-то из чиновников помельче.

Дома нет конца расспросам. Родственники ахнули, узнав, что он шел вместе с рабочими в этот кровавый день. Но им не нужно объяснять, *что* большевики должны быть всегда с пролетариями, и в беде особливо.

Анна Адольфовна только припала к плечу. Она хотела бы быть с ним там, на площади.

Не успел оглянуться, как на явку нагрянули волжане. Расцеловался с Соколовым, да и Андрей Квятковский облапил и поцарапал щеку давно не бритой щетиной.

Эти тоже за информацией и за инструкциями. ЦК перебрасывает Мирона в Киев, Андрея в Москву. Они уже были в дороге, когда 10-го прочли правительственное сообщение о кровавых событиях в Петербурге. В Тамбове соскочили с поезда – и в местный комитет. Там ничего никто толком не знает. Вечером того же дня собрали комитетчиков и сообща написали листовку: «Всем гражданам: На улицу! На баррикады! Долой убийц, долой самодержавие!» И не мешкали дальше. В Орле остановились, чтобы ликвидировать местное техническое бюро. И тут – Иннокентий.

Оба страшно возбуждены. У каждого тысячи вопросов, которые сводятся всего лишь к одному – что дальше?

Не очень-то конспиративно приглашать к себе домой «техников», но Иосифу Федоровичу так редко удается побыть дома… Может быть, в эти первые дни революции можно разок и не посчитаться с полицией?

Василий Николаевич Соколов ничего не рассказал о пребывании в гостях у Дубровинского. Он только мимоходом отметил, что был. А очень жаль – человек он наблюдательный и хорошо владел пером.

Может быть, это запоздалое сожаление, ведь ни Дубровинского, ни Соколова уже нет в живых. А наверное, Василий Николаевич знал об увлечениях Дубровинского, или, во

всяком случае, мог рассказать нам о его «побочных талантах».

Ведь талантливые люди никогда не бывают наделены только одним каким-либо даром.

Мы не знаем, любил ли Дубровинский театр, бывал ли в нем? А если любил, то драму или оперу? А может, балет?

Например, Красин не пропускал оперных премьер. Недаром в юности он пел в одном хоре с будущей знаменитостью – тенором Лабинским.

Ведь любил же Иосиф Федорович поэзию. И сам писал стихи. И об этом мы узнали только из небольшого некролога Н. А. Рожкова.

И было бы очень интересно прочесть у Соколова о том, как прошел этот вечер. Хотя и известно, о чем они говорили.

Конечно, о 9 января, о революции. О предстоящих боях…

Они и заночевали в этом гостеприимном доме.

Мирону очень не хотелось ехать в Киев, где транспорт находился в руках меньшевиков. И если у него были скверные предчувствия, то они полностью сбылись. В Киеве Соколов быстро угодил в Лукьяновскую тюрьму. И выбрался из нее только осенью 1905 года.

Необычен этот человек. Необычна и его квартира в Тишинском переулке.

Высок, строен и так красив, что на него заглядываются. Легко впадает в истерику. Потом наступает злая депрессия. Увлечен всегда. Чем-нибудь или кем-нибудь. Увлекаясь, ничего вокруг не замечает. Но остывает быстро. Сейчас, в начале 1905-го, увлечен революцией. Надолго ли?

И квартира под стать хозяину. Огромная. Неуютная. Какой-то нелепый фикус на треноге. Одни комнаты набиты картинами, книгами, безделушками. Другие стоят темные, пустые.

Хозяин не мешает гостям. Ведь он не член ЦК.

Гости – члены ЦК РСДРП. Они собрались, чтобы принять постановление о созыве нового съезда. За созыв – шесть, против – три. И предстоят еще споры.

Они были прерваны полицией.

В этот день, 9 февраля 1905 года, на заседание ЦК не приехал Леонид Красин. А он ехал. Он даже проехал мимо дома Андреева, но, заметив подозрительных субъектов у парадного, не остановил извозчика. Но это пока не знали арестованные. И волновались. ЦК оказался в Таганской тюрьме.

Снова тюрьма. Снова Таганка!

И вновь вынужденное, казалось, немыслимое в такое время безделье.

Революция началась. А партия революции осталась без своего

руководящего штаба. Как бы он ни был плох, как бы ни подорвал свой авторитет примиренчеством, пока нет иного ЦК. А он почти в полном составе за решеткой. И неизвестно, спасся ли Красин? И не арестовали ли одновременно в Смоленске Марка (Любимова)?

И вообще, почему стал возможен этот арест Пленума?

Иосиф Федорович тяжело переживал арест ЦК. Ведь по его инициативе ЦК был собран. И он приложил свою руку к тому, чтобы заседания происходили на квартире Леонида Андреева. Подозревать провокацию не хотелось, не было оснований. Вероятнее предположить, что всех их выследили. Причем выследили сразу, передавали от шпика к шпику. Скверно! Так скверно, хуже и быть не может. Вероятно, об аресте сообщат газеты. Узнает Анна Адольфовна, разволнуется. Да и мать стала в последнее время сдавать, для нее такие встряски совсем ни к чему.

Единственно, что отрадно, – арест ЦК никак не может помешать созыву III съезда. Если Красин на свободе – он сделает доклад о работе ЦК. Увы, он и примет на себя все упреки. Но Красин выдержит. Он так решительно покончил со своим примиренчеством, что теперь ему уже не страшны никакие укоры за прошлые ошибки.

Газеты! Как-то раньше, там, на воле, трудно было представить себе, что газета может так волновать, что от нескольких строчек, отпечатанных петитом, на глаза набегают слезы. И радости и горя.

А вот в тюрьме может. Разве на воле Дубровинский читал все газеты подряд, без разбору? Конечно, нет.

Он не желал тратить время на заведомо монархические или бульварные. А здесь, в тюрьме, каждая газета – событие. Ее зачитывают до прозрачности, ее берегут, передают из камеры в камеру с условием возврата. Правда, семь лет назад в той же Таганке о газете и мечтать было нечего. Но недаром сейчас 1905 год – год революции.

Носков заподозрил неладное. В тюрьме почти открыто из камеры в камеру передавались «Русские ведомости», «Московские ведомости» – в общем газеты официального толка, вполне благонамеренные. Уж не пытается ли тюремное начальство с помощью этих газет как-то повлиять на умы политзаключенных?

Иосиф Федорович так не думает и читает все подряд. Черт с ним, с направлением, важна хоть какая-то информация о том, что происходит за тюремными стенами.

«Благонамеренные» не могут скрыть беспокойства. А в тюрьму проникают и не очень-то благонамеренные – «Русь» или такая газета, как «Телефон». О ее существовании в Тифлисе

Дубровинский и не подозревал. Товарищи с Кавказа, оказавшиеся в Таганке, получали и передавали.

Страшные, дикие факты. Но в царской России такое не вновь.

Старый, испытанный метод, средство, прописанное еще таким опытным «лекарем», как император Александр III, – во всех горестях, обидах, бедах виноваты евреи, интеллигенты, студенты. Ну и инородцы тож.

В Баку шесть дней безумствуют мусульмане, избивая, грабя, убивая армян. Полиция при сем присутствует. Исподтишка подсказывает, направляет. У каждого мусульманина, как по мановению волшебной палочки, в руках современное ружье Бердана военного образца и офицерский револьвер Смита и Вессона. Патронов столько, сколько можно сжечь за шесть дней беспрерывной пальбы. Пожарные не тушат горящие армянские дома и магазины. Бедная полиция не в силах бороться с громилами, она в полном составе подает в отставку.

Но еще более страшная, наверное беспримерная в истории даже средневековой Европы, весть пришла из родного Курска. Из гимназии, где он знает каждый порог, где знаком скрип каждой классной двери. Хотя он в ней и не учился.

Городовые под предводительством околоточных, с шашками и мужики-стражники с кулаками набросились на мирно шествовавших 200 учеников мужской гимназии.

Ученики хотели встретиться с гимназистками и посовещаться относительно общих нужд школьной жизни.

«Бей направо и налево!» – неистовствовал пристав Пузанов. А жандармский полковник Вельк, когда его попросили вмешаться и прекратить избиение, ответил: «Господа, я – человек мирный и ничем помочь не могу…»

Газета «Русь» свидетельствовала, что в 80 поданных в управу прошениях говорилось о 47 избитых и потоптанных полицейскими лошадьми детях. Но это была только половина всех пострадавших.

Ходатайство граждан Курска об увольнении полицейских «героев» было «оставлено без уважения». И даже, напротив, проявленная «энергия» была оценена как «заслуга перед правительством».

Иосиф Федорович долго еще находился под впечатлением этих сообщений. Но были и другие, радостные.

Даже официальные газеты не могли скрыть роста забастовочной волны по всей империи.

Из Москвы и Варшавы, Петербурга и Лодзи, далекой Читы и Иванова – отовсюду слышалось одно: «Смерть или победа!»

Январь 1905 года – 440 тысяч забастовщиков.

Январь, февраль и март – 810 тысяч забастовщиков.

Бастуют рабочие, бастуют и крестьяне. С правительством не согласны служащие, интеллигенция.

Революция, начатая рабочим классом, превращалась в подлинно народную.

И может быть, самым радостным было известие, которое пришло с воли не на газетных полосах, а переданное шепотом во время свиданий. «В Лондоне открыл работу III съезд»…

И напрасно Плеханов заявил в Секретариате Международного социалистического бюро, что «за созыв III съезда высказались лишь два уцелевших члена ЦК».

Да, Красин и Любимов высказались за съезд, вошли в «Бюро комитетов большинства» и активно готовили съезд. Но шестеро членов ЦК, оказавшихся в Таганской тюрьме, тоже были за съезд. И они заявили об этом.

17 июня в газете «Пролетарий» было опубликовано их заявление.

Много революций пережил Запад. И буржуазные, и буржуазно-демократические, и даже пролетарскую Парижскую коммуну. Но только в первой русской буржуазно-демократической гегемоном революции стал пролетариат, союзником пролетариата – крестьянство. А буржуазия укрепляла контрреволюционный лагерь и делала все, чтобы покончить с революцией, сохранить царизм и, может быть, под сурдинку выпросить у него кое-какие уступки, кое-какие выгодные ей реформы.

Царизм шел на уступки ради подавления революции. Буржуа ликовал, думая, что это он вырвал их для народа. Буржуа хотел, чтобы его чествовали, его слушались и вообще прекратили хождение с красными флагами по улицам, прекратили забастовки, «возмутительные» призывы к свержению самодержавия.

Но буржуазно-демократическая революция не слушалась глашатаев буржуазии. Революцию делал рабочий, в ней участвовал крестьянин. Рабочий уже не просто требовал, а добивался свержения царизма, создания демократической республики, 8-часового рабочего дня, свободы слова, печати, собраний. Рабочий говорил крестьянину: «Помещичья земля твоя, но ты ее получишь, только свергнув царя, иди за мной, помогай мне и не оглядывайся на крикунов-капиталистов, они не хотят свергать царя, значит, и не хотят передавать тебе землю, но мы сами сметем царизм и сразу же примемся за капиталистов, ждать не будем».

Буржуазно-демократическая революция, руководимая

пролетариатом, неизбежно становилась прелюдией революции пролетарской. Рабочий класс и дрался по-пролетарски, используя специфически пролетарское средство борьбы – стачку. Он в огне революции создавал новые формы организации революционной власти – Советы уполномоченных, первые прообразы Советов рабочих депутатов.

Революция шла к вооруженному восстанию.

Буржуазия не устраивала стачек. Буржуазия не бастовала. Капиталисты не ходили по улицам с красными флагами и не строили баррикад.

Вооруженное восстание – этот вопрос из теоретического становился в ряд практических мероприятий партии.

«…Принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого по мере надобности особые группы из партийных работников» – так решил III съезд РСДРП.

Это было главное решение съезда в ряду многих других.

Глава VI

Леонид Борисович Красин возвращался в Россию со смешанным чувством удовлетворения и грусти. Закончился III съезд. Поставлена точка на примиренчестве, на том невыносимо глупом состоянии, когда от большинства отбился и к меньшинству не пристал. Он снова обрел былую уверенность. Он вооружен решениями съезда. И на нем лежит забота об оружии для рабочих, о финансах для партии.

Где взять это оружие? Где взять деньги?

Сегодня газеты принесли печальную весть. В курортном местечке на юге Франции выстрелом в сердце покончил с жизнью Савва Морозов. Он был не просто близким человеком, он был другом. И не только ему, Красину. Он был другом Горького и Андреевой, он спасал от полиции Баумана. Он был капиталистом, но жертвовал деньги большевикам.

Они расстались только накануне. Морозов передал Красину небольшую сумму наличными и страховой полис на имя Марии Федоровны Андреевой. Из ста тысяч – шестьдесят фабрикант отдавал партии большевиков. Когда разжались руки, Красин подумал, что они видятся в последний раз. Так оно и случилось…

Морозов не выходил из головы. А ведь впереди Москва. И пора бы подумать о том, что ждет его там, в России? Ведь он покинул ее нелегально. И возвращался с чужим паспортом в кармане и с кучей обязанностей, поручений, личных просьб и неотложных дел. И может быть, самое неотложное, на чем настаивал Ильич и новый ЦК, – освободить цекистов, все еще томящихся в московской Таганской тюрьме.

Но чтобы их освободить, а точнее – организовать побег – иных путей он не видит, – нужно самому иметь развязанные руки. А что, если его уже дожидаются жандармы? Это более чем вероятно. Трудно предположить, что департамент полиции не знает о Красине. Да нет, наверное, знает. Вот о том, что он был в Лондоне, могут знать, могут и не знать. А если и выследили в столице Англии, то вряд ли ждут его возвращения из Франции. А он еще и в Германию заедет.

Значит, если не схватят на границе, то в его распоряжении будет несколько недель. За это время он сумеет выяснить, что известно жандармам, а тогда и решит – то ли ему вновь легализоваться, то ли окончательно уйти в подполье.

Александра Павловна Носкова была женщиной настойчивой и самостоятельной. К этому ее приучила беспокойная жизнь с мужем, который то пропадал за границей, то вдруг внезапно

появлялся, вечно куда-то спешил.

Она добилась свидания с мужем, и не только добилась, но и получила право на частые свидания. Через нее в основном и поддерживали связь с волей цекисты, сидевшие в Таганке.

Красин быстро разыскал Александру Павловну. Она обрадовалась и одновременно испугалась. Вот так, средь бела дня, и заявился. Нет, нет, Носков передавал, что на допросах жандармы о Красине не выспрашивали. Его имя вообще не фигурировало. И все же нельзя быть таким неосторожным.

Товарищи из Московского комитета поинтересовались поведением полиции и жандармов в Орехово-Зуеве после того, как инженер Красин вдруг 9 февраля внезапно выбыл в заграничную командировку па фабрику «Броун Боверн» за деталями для новой турбины. Нет, и там все было спокойно. Отъезд Красина не вызвал никаких кривотолков. И за это спасибо Морозову, у которого он числился на службе этот последний год.

Леонид Борисович решил «вернуться» из командировки. Но он объявился не в Орехово-Зуеве, а в Петербурге, Все такой же сияющий, остроумный и, казалось, преуспевающий инженер с солидной репутацией.

Таким не бывает отказа. Такие занимают только видные должности. И Красин занял – заведующий всей кабельной сетью Петербурга. Это была крупная должность в «Электрическом обществе 1886 г.». Ну как же, ведь от этого инженера зависело и освещение театров и ресторанов, богатых особняков и главных проспектов. Подначальные ему трансформаторные будки контролировали подачу тока на фабрики и заводы.

Но Красин не спешил вступить в свои владения. Он оговорил у директоров общества одно условие. Заведующий кабельной сетью появится в своем кабинете только осенью. А пока…

Пока он живет под Москвой на даче брата. Часто наезжает в первопрестольную, бывает в театрах. И если поздно задерживается, ночует у сестры Софьи.

Таганка никогда не пустовала. А летом 1905-го ее камеры уже не вмещали арестантов. Одиночки превращались в общие камеры, а общие – сущий ад. Цекисты оказались вместе.

Каждый новый политический, «влетавший» в тюрьму, приносил с воли и новые вести. И эти известия рисовали общую картину событий. Каждый вновь «обращенный» арестант знал детали тех или иных событий или сам принимал в них участие. И часто арестанты знали об отдельных стачках, забастовках более полно, нежели это можно было почерпнуть из газет. Газеты в тюрьму попадали нерегулярно. Но номер «Пролетария» от 17 июня Носкова принесла тут же, как только он появился в России.

В нем Дубровинский обнаружил протест шести цекистов. Было приятно еще раз перечитать эту маленькую заметку и почувствовать себя приобщенным к тем товарищам, которым посчастливилось побывать на III съезде.

В этот день, как обычно, Владимира Носкова вызвали на свидание. И все с нетерпением ожидали, когда же Владимир Александрович вернется и какие новости принесет с воли.

Носков вернулся скоро. Он как-то загадочно улыбался и не спешил рассказывать. На нетерпеливые вопросы только буркнул, что на сей раз он виделся не с женой, а с «родственником», и не уточнил, с кем именно. Это было странно. Владимир Александрович от товарищей ничего никогда не скрывал. За долгие недели «таганского плена» успел поведать свою биографию. И Дубровинский хорошо знал, что никаких родственников, кроме дядюшки в Иваново-Вознесенске, у Носкова нет.

Судя по тому, как Владимир Александрович честил этого дядюшку, мелкого фабриканта, трудно было себе представить, что тот вдруг воспылал любовью к племяннику, которого сам же выжил из дома и вдруг пожаловал в тюрьму на свидание. Нет, что-то Владимир тут темнит.

Носков действительно «темнил», но не потому, что не доверял товарищам. Он еще и сам не имел времени для того, чтобы осмыслить визит «родственника».

Действительно, все было странно в этот день. Надзиратель предупредил в коридоре, что его ожидает не жена, а какой-то господин. О дядюшке он не подумал, так как его приход – событие невероятное. Значит, кто-то из товарищей назвался родственником. И нужно быть готовым, вести себя так, чтобы надзиратель не почуял подмены.

Комната свиданий. Со скамьи поднимается какой-то элегантный мужчина. У Носкова аж ноги подкосились, когда он разглядел в посетителе не кого иного, как Леонида Красина. Сумасшедший! Явился в тюрьму сам, после того, как благополучно избег насильственного водворения. Его же могут каждую минуту опознать. Ведь Леонид Борисович уже однажды здесь побывал, а тюремные надзиратели, как и тюремные порядки, почти не меняются.

Металлическая сетка мешает рукопожатиям. Оба взволнованы. Разговор, как поначалу показалось Носкову, был беспорядочный и какой-то уж очень обывательский. Как кормят? А насчет баньки? Она все там же, во дворе? И что, по субботам водят? И всех сразу, в один день?

И только теперь, в камере, Владимир Александрович,

вспоминая вопросы Красина, их последовательность и неизменную, он бы сказал, нацеленность на баню, понял, что Красин, а значит, и Центральный Комитет подготавливают какую-то акцию, в центре которой стоит тюремная баня.

Догадаться не трудно. Дубровинский, выслушав торопливый рассказ Носкова, не раздумывая, резюмировал:

– Побег!

– Да, побег. Иного и быть не может.

С этим выводом согласились и остальные цекисты. Иосиф Федорович воспринял это известие спокойно.

Он никогда раньше из тюрем не бегал, а теперь вот убежит. Он в этом не сомневается – ведь за организацию побега взялся Красин.

Не часто сталкивались эти два очень разных и очень близких друг другу человека. Красин и Носков настояли на кооптации Дубровинского в члены ЦК. Они видели в Иосифе Федоровиче единомышленника, стоящего так же, как и они, на позициях примиренчества. И тот и другой были, бесспорно, самыми крупными организаторами в партии.

По-разному складываются судьбы людей, казалось занятых одним и тем же делом. Различна судьба Красина и судьба Дубровинского, как различны судьбы Бабушкина и Баумана.

Гениальные ленинские начертания построения партии нового типа обретали плоть, реальность, действительность благодаря неутомимой каждодневной и, конечно, творческой работе таких организаторов-практиков, каким был и Дубровинский.

Но его имя известно меньше, чем Ивана Бабушкина, за ним не числилось столь «громких дел», как за Николаем Бауманом, он не был столь импозантен и так всесторонне одарен, как великолепный техник и финансист партии Леонид Красин.

Красин поражал товарищей и единомышленников размахом своих начинаний, дерзостью решений. Дубровинский тоже поражал. Поражал умением сразу войти в курс всякого дела, увидеть главное и уже не отступаться от него.

С Красиным нельзя было спорить, хотя он не всегда был прав. С Дубровинский спорили, не соглашались, но неизменно уважали. Красин сам был деловым человеком и от других требовал деловитости. Он не знал мелочей. Он знал, что из мелочей складывается целое. Дубровинский всегда видел перед собой это целое, главное и поэтому так же, как и Красин, не упускал ни одной мелочи.

Но Красин всегда был на виду, Дубровинский волею судеб оставался в тени, но, наверное, в Центральном Комитете РСДРП не было больше такой взаимодополняющей друг друга пары.

Насколько Дубровинский был популярен среди товарищей-большевиков, как они привыкли к тому, что именно Иннокентий является организатором многих важнейших партийных предприятий, свидетельствуют воспоминания старейшего большевика, рабочего Ивана Константиновича Михайлова.

Иван Константинович был одним из зачинателей «бомбового производства» для нужд восставших. Летом 1905 года созданная им в Екатеринославе бомбовая школа-лаборатория успешно готовила специалистов по добыванию взрывчатых веществ. Когда екатеринославская полиция выследила Михайлова, он сумел уехать в Киев.

«Добрались до Киева благополучно. Явились по явке к уполномоченному Центрального Комитета РСДРП по кличке Иннокентий.

– Боевик.

– Чудесно.

Иннокентий предлагает нам заняться в Киеве той же работой по изготовлению бомб».

В другом месте Михайлов пишет:

«…Иннокентий настойчиво требует от нас ускоренной организации школы и мастерской по изготовлению бомб». И далее:

«Потапыча, Сулимова и меня Иннокентий командирует в Петербург для организации бомбовой мастерской».

Нет сомнения, что речь идет об Иннокентии – Дубровинском. И точно указано время – лето 1905 года.

Но весну, лето и часть осени Дубровинский просидел в Таганской тюрьме. Об этом, вероятно, забыл Иван Константинович через много лет, когда взялся за воспоминания. Но образ Дубровинского был настолько живым, запавшим и в память и в сердце, что мемуарист не усомнился в том, что и бомбовая мастерская – дело рук Иосифа Федоровича.

Подкоп, побег! И снова вспомнился тот народник, что ратовал за романтику. Чем же не романтика! Подкоп под тюремную баню. Это, пожалуй, потруднее, чем знаменитый подкоп народовольцев под Кишиневское казначейство или под полотно Курской дороги для взрыва царского поезда. И если за организацию подкопа, побега взялся Красин, значит будет все – и размах и полет фантазии. Леонид Борисович без этого не может. Дубровинский не раз слышал от него, что именно инженер должен обладать фантазией, во всяком случае, не меньшей, чем поэт.

Между тем Красин времени не терял. От Носкова он узнал все, что нужно. Баня на месте. И еженедельно цекисты бывают в

ней. Видимо, не трудно будет подгадать, чтобы в нужный день они все вместе в одно время очутились там. Леонид Борисович объехал на извозчике вокруг Таганки и обнаружил, что со стороны Москвы-реки к тюрьме примыкает какой-то пустырь. Навел справки и узнал, что этот пустырь никем не арендован и на него нет охотников.

Через несколько дней из тюремных окон можно было наблюдать, как к заброшенному пустырю потянулись ломовые подводы. Одни подвозили тес, и плотники тут же начали ставить забор, другие везли какие-то трубы, песок, щебень. А еще через некоторое время из-за забора показались и очертания большого сарая.

Из тюремных окон нельзя было разглядеть вывеску, красовавшуюся на заборе, – «Анонимное общество – производство бетона».

Все честь честью. У анонимного есть вполне официальный директор-распорядитель, господин Красин. Имеются заведующий работами, приказчик, его помощник.

Леонид Борисович, подбирая людей, которым предстояло сделать подкоп, поставил во главе предприятия человека, который имел хоть небольшой опыт в этом деликатном деле. Он вспомнил о Трифоне Енукидзе, «хозяине дома», в котором столько лет помещалась и столь успешно действовала главная типография ЦК – «Нина». Не кто иной, как Трифон, его брат Авель и другие типографщики прорыли подземные ходы, которые вели в знаменитую конюшню, где за глухой каменной стеной стояла печатная машина. Трифону помогали «приказчики» – Михаил Кедров и Павел Грожан.

Теперь узникам предстояло только набраться терпения. А этому умению они научились в царских тюрьмах.

Но «Анонимному обществу» была уготовлена недолгая жизнь. Его не раскрыла полиция, его не выследили шпики.

Оно свернулось само собой за ненадобностью.

И это произошло только потому, что осенью 1905 года наступила новая фаза революции.

В октябре вспыхнула всеобщая и всероссийская стачка. Она началась в Москве.

6 октября Московский комитет и районные комитеты РСДРП обратились к московским рабочим с призывом к всеобщей политической забастовке.

7 октября забастовали рабочие и служащие Московского узла Ярославской и Казанской железных дорог. На другой день к ним присоединились рабочие Курской и Нижегородской железных дорог.

По призыву московских большевиков 11 октября, в 12 часов дня, началась всеобщая стачка на заводах и фабриках. Ее девизом было: «Долой царское правительство!», «Да здравствует всенародное восстание!»

И началась цепная реакция стачек.

Почтово-телеграфные служащие.

Служащие земских учреждений.

Адвокаты.

Инженеры.

Врачи и техники.

Учителя…

«Скоро, может быть, забастует вся Россия!» – писали в листовке московские большевики.

Их предвидение сбылось. Петербург и Ярославль, Самара и Чита, Украина, Белоруссия, Кавказ, Латвия, Польша поддержали политическую стачку москвичей.

Всероссийская октябрьская стачка преследовала экономические и политические цели одновременно.

«Экономические касались *всего* пролетариата, всех рабочих и отчасти даже всех трудящихся, а не одних только наемных рабочих. Политические цели касались всего народа, вернее всех народов России. Политические цели состояли в освобождении всех народов России от ига самодержавия, крепостничества, бесправия, полицейского произвола».[4]

2 миллиона забастовщиков?

Такого еще не видала Россия.

Положение царизма стало критическим. Он не мог методами военного насилия подавить революцию.

И правительство пошло на маневр, на обман. 17 октября 1905 года был издан манифест, провозгласивший «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Царь обещал созвать законодательную Думу, без одобрения которой «никакой закон не мог воспринять силу».

Это была, конечно, победа, победа революции. Но это еще не было решающей победой. Царизм не капитулировал. Он только отступил, чтобы выбрать новую, более удобную позицию для решающей схватки с революционным народом.

Большевики смело и открыто в листовках и газетах, на митингах и собраниях разоблачали маневр царизма. Например, в листовке Нижегородского комитета РСДРП «К гражданам» был поставлен вопрос о том, что же дает рабочему классу и крестьянству манифест 17 октября. «Признана неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний,

союзов, но есть ли свобода печати? Нет. Имеем ли мы право стачек? Нет. Дума получает законодательную власть. Но изменен ли порядок выборов, есть ли в высочайшем манифесте что-нибудь похожее на всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право? Нет. Уничтожен ли имущественный ценз? Нет. Уничтожены ли четырехстепенные выборы для крестьян, это хорошая выдумка бюрократов, это сито, которое задержит революционный рост крестьянства? Нет. Все оставлено по-прежнему».

На следующий день Россия ликовала.

Старый большевик С. И. Мицкевич записал в своих воспоминаниях:

«Утром 18 октября во всех газетах был напечатан манифест о свободах и о законодательной Думе.

Я пошел узнать в центр о наших партийных установках в связи с появлением манифеста.

Улицы были полны народа. Все дома были увешаны национальными трехцветными флагами. До сих пор я никогда не видал на улицах Москвы такой оживленной толпы: шли разговоры о манифесте, кое-кто из черносотенцев ругал „красных“ и „забастовщиков“, другие им горячо возражали; попадавшихся полицейских встречали криками: „Поцарствовали, попили нашей крови! Теперь баста!“

Все шли к центру – к Театральной площади, к Тверской. Это было стихийное движение, никем не руководимое. Подошли к Театральной площади (ныне площади Свердлова), она была запружена народом. Кое-где виднелись красные знамена, одно из них было водружено на фонтане в центре площади. С фонтана говорили ораторы; с того места, где я остановился, – у угла „Метрополя“ и площади – было плохо слышно. Иногда долетали слова:

„Да здравствует свобода!“ Толпа подхватывала этот лозунг, и крики „Да здравствует свобода!“ широко оглашали площадь. Потом, по-видимому, говорили об освобождении политических ссыльных и заключенных, раздались крики: „Амнистия! Амнистия!“ Около оратора запели:

Вы жертвою пали
В борьбе роковой…

Это пение было нестройно подхвачено по всей площади: тогда еще масса не умела петь революционные песни, не знала слов.

Вдруг раздался клич – идти к тюрьмам освобождать

политических. Стали срывать флаги с домов, обрывать с флагов синие и белые полосы, оставляя одни красные. Получались узкие красные знамена-пики.

Образовались колонны, вооруженные этими пиками. Пошли по направлению к Таганке, по дороге везде срывали флаги и делали из них красные знамена, некоторые делали из красных полос банты и украшали ими себя.

Колонны по мере продвижения росли и росли; когда подошли к Таганке, уже начало смеркаться. Заполнились переулки около тюрьмы. Ворота тюрьмы были заперты, стали в них колотить древками знамен; впустили несколько человек внутрь двора для переговоров с администрацией тюрьмы. Среди вошедших в тюремный двор был наш партийный товарищ из боевой организации – инженер Виноградов, с красной лентой через плечо. Демонстранты остались на улице ждать.

…Через некоторое время вышел из ворот кто-то из наших делегатов и объявил, что идут переговоры по телефону с генерал-губернатором и что, вероятно, скоро начнут освобождать заключенных. Мы терпеливо ждали. Там и сям нестройно запели революционные песни: „Отречемся от старого мира“ и „Вы жертвою пали“.

Вскоре подъехал к тюрьме московский губернатор Джунковский и объявил, что он будет сейчас разбирать дела и выпускать, кого можно. Раздались крики: „Выпускайте всех, иначе не уйдем!“

В Таганке в это время сидело довольно много политических: во-первых, почти весь ЦК прежнего состава, арестованный в феврале на квартире писателя Леонида Андреева; во-вторых, ряд ответственных работников Московской большевистской организации, арестованных в последнее время, особенно во время сентябрьских забастовок.

Среди заключенных были член МК Шестаков, агитатор Седой и ряд других товарищей. Вдруг мы слышим громкий голос Седого из большого коридорного окна третьего этажа; он призывает толпу к спокойствию, говорит, что идет освобождение политических заключенных и скоро они все выйдут. Восторг охватил демонстрантов, кричали: „Ура! Да здравствует свобода! Долой царских опричников!“ После Седого говорили из окна агитационные речи еще несколько товарищей. Через некоторое время ворота тюрьмы раскрылись, и со двора вышла толпа освобожденных узников. Энтузиазм был неописуемый! Освобожденных целовали, обнимали, качали…»

Иосифа Федоровича покачивало, словно он выпил много вина. Хотелось зажать уши.

Но он кричал вместе со всеми. И с кем-то обнимался, кого-то целовал.

Представитель Московского комитета торопил. Ведь только что здесь были казаки и даже стреляли. И во дворе тюрьмы полно войск. Казаки могут в любую минуту вернуться, они теперь уже никому не повинуются. А войска пока остаются верными правительству. Могли напасть и черносотенцы.

Сегодня они убили Николая Баумана.

В Техническом училище собрались члены Московского комитета. Говорят вполголоса. В актовом зале стоит гроб с телом Баумана.

Принято решение превратить похороны Николая Эрнестовича в политическую демонстрацию.

Иосифа Федоровича тут же кооптируют в состав комитета. И первое поручение – к похоронам нужна листовка. Времени в обрез, похороны 20 октября.

Они никогда не встречались. Но знали друг друга по рассказам товарищей. И вот теперь, через день после того, как Дубровинского освободили из тюрьмы рабочие, которых вел Бауман, он хоронит Николая Эрнестовича.

Ночь 20 октября 1905 года.

Техническое училище. Актовый зал. В зале только стол с гробом, а рядом столик, на котором лежат рубли, пятерки, медные гроши. Склоненные флаги. Много флагов. И много венков.

И деньги и венки принесли рабочие, студенты, служащие, которые целый день 19 октября шли мимо гроба, прощаясь с Бауманом.

Училище охраняют отряды рабочих. Они не прячут винтовок, револьверов. Ни полиции, ни городовых поблизости не видно.

20 октября 1905 года.

Раннее-раннее осеннее утро.

Из центров, с окраин, из пригородов Москвы к Техническому училищу сходятся люди. Идут поодиночке, группами, колоннами. У многих в руках красные стяги. Красные банты на шапках, красные ленты через плечо. И флаги, и банты, и ленты с черной траурной каймой.

Полдень. В актовом зале училища кончается гражданская панихида. Уже сказаны все скорбные и гневные слова. Звучит траурный марш. Члены Московского комитета поднимают гроб.

Тысячи людей на улице обнажили головы.

Колонны трогаются. Впереди, взявшись за руки, движется двойная цепь рабочих. В этой цепи прямо перед гробом идет и Дубровинский (на фотографии он третий справа, вполоборота к

фотографу, рядом Иван Александров, за ним Носков).

Процессия направляется к Красным воротам.

Это было невиданное шествие. Городовые и сыщики, дворники и полицейские куда-то попрятались. В чайных засели и не смели вылезти на улицу черносотенцы с Хлебной биржи и Охотного ряда.

Сколько людей участвовало в этих похоронах, трудно сказать. Московские газеты на следующий день называли и 200 и 300 тысяч. Траурные флаги на многих домах, алые знамена на многих балконах.

У Театральной – делегации с венками. Приехали из Подмосковья, приехали из Саратова. На Никитской навстречу шествию вышли из консерватории оркестр и хор.

Было уже 8 часов вечера, когда гроб опустили на землю на Ваганьковском кладбище.

Последние прощальные речи. И клятвы.

Склонились знамена.

Манифест 17 октября объявлял личность русского человека неприкосновенной, но жизнь и честь его оставлялись во власти казацкого неистовства.

Царизм, натравливая уголовные элементы, дворников, чернь в точном значении этого слова, на передовых рабочих и лучшую часть интеллигенции, решил доказать, что народ восстает против всяких реформ. Что стремление к конституции он признает происками врагов России. Что ничего, кроме рабского подчинения опекунской власти начальства, он не желает.

Еще вчера, возвращаясь с похорон Николая Эрнестовича, Дубровинский стал свидетелем новой кровавой бойни у стен университета.

Было уже 11 часов вечера. Студенты, рабочие небольшими группами спешили по домам. Все устали. И все были потрясены этой невиданной политической демонстрацией.

Около университета внезапно откуда-то из ворот ближайших домов вдруг выскочили полупьяные приказчики Охотного ряда. Они целый день отсиживались, боясь сунуться на улицу, а к ночи осмелели.

Раздались выстрелы. Студенты заметались, бросились к решетке университета. Калитка оказалась закрытой.

А ряды громил множились.

Дубровинский кинулся обратно на Никитскую. Там, в университетской большой аудитории должны были находиться дружинники.

Но, видимо, боевая дружина услышала выстрелы. Иосиф Федорович встретил ребят на половине дороги, указал им, откуда

стреляют, и поспешил вслед. Несколько залпов – и громилы трусливо стали разбегаться. Дружинники стреляли поверх голов.

Иосиф Федорович решил, что здесь уже все кончено и нужно добираться до дома. Но только он свернул на Моховую, как запел рожок, и вечернюю тишину разодрал хлесткий ружейный залп. Пули ударили в угол дома, штукатурка запорошила глаза. А Манеж продолжал вспыхивать винтовочными выстрелами.

Это стреляли уже не черносотенные банды. Характерный резкий хлопок при выстреле выдавал казацкие карабины.

На тротуаре, около университета, падали люди. Одни тут же вскакивали и убегали, другие оставались лежать.

Сегодня газеты сообщили, что там, на Моховой, так и остались лежать 6 убитых (у одного в спине 8 пулевых отверстий). 30 раненых подобрали санитары. Газета «Право» утверждала, что во время стрельбы в манеже вместе с казаками «находились исполняющий должность полицмейстера и пом. пристава». Имен газета не называла.

В последующие дни черносотенные погромы прокатились по 65 городам России. Три дня неистовствовали громилы в Одессе при попустительстве градоначальника Нейдгарда и генерал-губернатора Каульбарса. На улицах стучали пулеметы, рвались бомбы, словно неприятель ворвался в город. Стрельба не стихала даже тогда, когда появлялись патрули солдат и городовых.

«Городовые без №№ и с револьверами, поднятыми вверх, в середине их солдаты с ружьями вверх, между ними околоточный надзиратель и священник, сзади идет толпа хулиганов с дубинами, полосами железа, молотами и т. п. „вооружением“… Патрули эти проходили по улицам, где продолжался грабеж и совершались убийства, истязали евреев и тех, кто за них заступался.

Хулиганы, грабившие квартиры, сбрасывали с балконов детей, стариков и родильниц… Убивали людей головой об мостовую… Подстреленному юноше шашкой был вскрыт живот… На одном чердаке было найдено 36 трупов… Винные лавки все время торговали по установлению, а награбленное беспрепятственно разносилось по городу…»

В Ростове-на-Дону – 176 убитых и 500 раненых, в Минске – 500 убитых и раненых, станция Раздельная – 10 убитых, 29 изувеченных. И так повсюду.

Дубровинский понимал весь дьявольский замысел царизма, но ему не были известны его закулисные стороны. О них рассказал горнопромышленник Ф. Лавров. Он подал на имя Витте записку, в которой собрал факты и ручался за их достоверность.

Царских чиновников Лавров величал «лиходеями» и писал об

их «адском плане – огнем и мечом утвердить на Руси самодержавие отныне и навек».

«Как подготовлялась к этому почва… кто насыщал воздух пороховой пылью национальной вражды и с чисто немецкой свирепостью душил всякую живую мысль… откуда взялись черносотенцы, кто и по чьему приказу сеял с амвонов церквей братоубийственную распрю, кому нужно было напустить ужас на всю Россию в виде 35 полков казаков (не пожалев на это миллионы), все это известно всей России и особенно Русскому Собранию…

Ядро организованных „боевых дружин“ составляли 6000 человек, а остальную силу должны были им доставить такие мастера по части декоративного патриотизма, как Клейгольс, Нейдгард, Азанчевский, Пилер фон Пильхау, Курлов, Рогович и др. Депутаты от боевой дружины опричников, или „сотенные“, как они себя называли, съехались в Петербург в начале октября и задержались здесь благодаря общей забастовке железных дорог, почему и не могли своевременно выехать к месту будущих действий.

Таким образом, кровавая бойня над Россией задумана была гораздо раньше и в иных целях, чем осуществившаяся вслед за манифестом. Подготовлялась контрреволюция, а разыгралась контрконституция. И произошло это потому, что быстрый ход событий обогнал контрреволюцию. Достаточно было ликующему населению выкинуть 18 октября красные флаги, знаменовавшие собою завоевание свободы кровью народа и ничто другое, довольно было провокаторской бомбы, нескольких диких возгласов из многотысячной толпы, чтобы полицейские телефоны завопили: „Революция идет!..“

Да, господин Лавров потрудился, но и он не понял до конца значение манифеста 17 октября. Этот манифест – вынужденный акт царизма.

Недаром говорят, что граф Витте его на коленях выползал у царя. И никакой свободы, это только маневр – отсрочка, грандиозная провокация, с помощью которой царизм пытается вызвать народные массы на улицу и раздавить их казацкой подковой, растерзать солдатским штыком.

Нет, нужно браться за оружие, да как можно быстрее.

Дубровинский нетерпеливо ерзает на полке вагона Москва – Петербург. Медленно ползет этот поезд. За эти четыре дня в жизни Иосифа Федоровича произошло столько перемен, что он не успел во всем разобраться.

Выполняя решения III съезда о вооруженном восстании, Центральный Комитет партии, Ленин указывали, что „…

Революционный пролетариат добился нейтрализации войска, парализовав его в великие дни всеобщей стачки. Он должен теперь добиться полного перехода войск на сторону народа“.[5]

И вот Дубровинский уже в пути. Ярославский, Землячка и многие другие, так же как и он, направлены ЦК для работы в войсках. Дубровинский едет в Петербург и, не задерживаясь в столице, отправится в Кронштадт.

Сведения из Кронштадта приходили самые противоречивые, но ясно было одно, что матросы готовы взяться за оружие. Они уже выработали свои требования. В этих требованиях было еще много незрелого, „бытового“, но кронштадтские большевики сумели подсказать и политические.

В Петербурге, в столичном комитете РСДРП, Иосиф Федорович сумел познакомиться с требованиями матросов:

> Увеличить приварочные деньги с 6–8 копеек до 15 копеек в день на человека.
>
> Передать все вопросы питания команды в руки матросов. Команда изберет своих артельщиков по одному от роты.
>
> Всякая экономия от довольствия должна употребляться на улучшение пищи по усмотрению команды.
>
> Ежемесячно выдавать на каждого 1/4 фунта рассыпного чая и 3 фунта сахара.
>
> Баня с мылом за счет казны.
>
> Ежегодно выдавать два комплекта обмундирования из материалов высшего качества. Носильного белья по три пары в год.
>
> При увольнении в запас выдавать каждому деньги на покупку штатского платья.
>
> Вместо нар поставить койки.
>
> Срок службы не должен превышать четырех лет. Молодых матросов обучать грамоте, относиться к ним гуманно.
>
> В библиотеках иметь всю современную литературу и наиболее распространенные газеты и журналы.
>
> Разрешить собрания и сходки нижних чинов для обсуждения своих нужд.
>
> Офицеры должны обращаться с нижними чинами вежливо и обязательно на „вы“.
>
> Не преследовать членов команды броненосца „Потемкин“, которые пожелают вернуться на родину.
>
> Предоставить нижним чинам права наравне со всеми

гражданами.

Да, требования сумбурны. Дубровинский понимал, что необходимо как можно скорее попасть в Кронштадт. В Петербурге ему сказали, что кронштадтские большевики создали военно-революционный комитет и назначили восстание на конец октября. Времени очень мало. Если матросы восстанут и предъявят вот эти требования, то это будет холостой выстрел.

Иосиф Федорович ехал в Кронштадт, совершенно не представляя, где он будет там жить, питаться. У него была явка к членам Кронштадтского комитета РСДРП и больше ничего. Но все эти „бытовые мелочи“ мало беспокоили Дубровинского. Скитальческая жизнь приучила его довольствоваться малым. Не привыкать ему и к тому, что каждую ночь приходится коротать на новом месте. Несколько застенчивый Иосиф Федорович всегда стеснялся того, что может помешать хозяевам, отказывался от постели, и часто утро заставало его спящим в кресле или просто на полу, укрытым пальто, с портфелем под головой.

Дубровинского сейчас заботило другое. Никогда раньше ему не приходилось работать среди солдат и матросов. Он великолепно понимал, что и солдаты и матросы – это вчерашние рабочие и крестьяне. Что им также близки те цели, которые преследуют их братья на заводах, в деревнях и селах. Но, конечно, в воинской среде была и своя специфика. Многолетняя муштра, беспрекословное повиновение, ежеминутная угроза наказания не могли не сказаться на формировании характеров и поведения нижних чинов. Чтобы поднять матроса или солдата па вооруженную борьбу, нужно еще суметь убедить его, заставить стряхнуть это оцепенение, скованность дисциплиной, подчинением.

Иосифа Федоровича хорошо знали на заводах и фабриках Москвы, Петербурга, Орла, Калуги, Самары. Но никто из десятка тысяч моряков Кронштадта ни разу не видел его в глаза, не слышал его выступлений. Значит, в самые короткие сроки он должен войти в эту новую для него среду, стать своим человеком для матросов и солдат.

Нелегко это будет сделать.

Дубровинский решил, что он воспользуется первым же митингом, первой сходкой, чтобы выступить перед новой для него аудиторией. Конечно, придется соблюдать осторожность: Кронштадт наверняка наводнен шпиками. Крепость невелика, каждого вновь прибывшего „пауки“ сразу же возьмут на заметку.

Он не может сейчас рисковать.

Когда Иосиф Федорович приехал в Кронштадт и повидался с

местными руководителями большевиков, то узнал от них, что в воскресенье, 18 октября, во всех экипажах прошли открытые митинги. Очень бурно обсуждался вопрос: включать или не включать в матросские требования программные требования партии?

Сторонники включения политических требований доказывали, что все равно так или иначе вооруженного столкновения не избежать. Всероссийская забастовка уже остановила всю жизнь страны, и моряки не могут остаться в стороне, они должны оружием поддержать революцию.

Противники этой точки зрения бубнили свое – „требования матросов касаются только их самих, мы требуем улучшения жизни матросов и в политику не хотим вмешиваться“.

Но матросы пошли за большевиками. И только отказались включить в свои требования пункт о свержении самодержавия. „Этот пункт самодержавию мы не можем предъявить, – говорили матросы, – по этому пункту его надо свергать“.

Зато моряки потребовали созыва Учредительного собрания, предоставления демократических свобод, 8-часового рабочего дня.

На этих же митингах договорились, что свои требования матросы предъявят 30 октября, в день возвращения команд из плаванья.

В воскресенье 23 октября большевики Кронштадта наметили созвать митинг матросов, солдат, рабочих.

Комендант крепости, когда к нему обратились за разрешением, отверг все ссылки на царский манифест и запретил нижним чинам участвовать в каких-либо собраниях. Он взял под охрану Манеж, который большевики просили для проведения митинга.

Но нижние чины но были намерены подчиняться приказу коменданта. Большевики призвали солдат, матросов, рабочих собраться на Якорной площади.

К середине дня 23 октября на площадь пришло около 5 тысяч человек.

Командование попыталось сорвать митинг. Прибывшие на площадь офицеры сначала угрожали матросам и солдатам наказаниями за ослушание. Но очень скоро убедились, что такие угрозы могут для них дорого обойтись. Не поддались нижние чины и на уговоры.

Толпа на площади все возрастала.

Дубровинский с удивлением, с радостью наблюдал, как отпадает, отваливается от правительства огромными людскими пластами армия.

Она еще не стала революционной, она еще не перешла целиком на сторону революционного народа. Но этот переход уже начался.

На митинге выступали самые разномастные ораторы – меньшевики, эсеры, беспартийные.

Выступали и большевики. Выступил и Дубровинский. Опытный оратор, он сразу же приковал к себе внимание многотысячной толпы. В противовес подстрекательским науськиваниям эсеров, незадолго до этого оформивших в Кронштадте свою организацию, Дубровинский не призывал к немедленному восстанию. Наоборот, он говорил о необходимости тщательной подготовки, разъяснял задачи, которые стоят перед рабочими и солдатами.

Быстро темнеет в октябре. Митинг кончался уже почти в полной темноте.

А ночь, как известно, принадлежит мародерам. Черносотенцы, тоже бывшие на площади, попытались спровоцировать солдат и матросов на погром. Но большевики предвидели такую попытку и быстро с помощью сознательных рабочих, солдат, матросов утихомирили провокаторов.

На митинге „всем миром“ были выработаны требования матросов и солдат, которые решили предъявить командованию по подразделениям.

Прошел еще день. В казармах, флотских экипажах сбившееся с ног начальство обнаруживало множество социал-демократических листовок.

И в этот день, 24 октября, были митинги. Причем матросы и солдаты уже в ультимативной форме предъявили свои требования, предоставив командованию трехдневный срок для ответа.

Дубровинскому не понадобилось много времени, чтобы разобраться в сложившейся обстановке.

Солдаты и матросы рвутся к открытой борьбе, но восстание совершенно не подготовлено. У кронштадтских большевиков недостает сил, чтобы организационно охватить всю эту стихию. А эсеры явно провоцируют, зовут к оружию, и немедля.

Значит, пытаясь предотвратить преждевременное, стихийное выступление, социал-демократы должны быть готовы ко всему. А готовы – это означало прежде всего выработку хоть какого-то плана восстания.

Дубровинский не был военным специалистом. И ему было трудно руководить составлением такого плана. Но план все же был вчерне намечен. Иосиф Федорович считал, что главным пунктом этого плана должна стать цепь мероприятий, с помощью

которых можно будет ввести стихию в организованное русло.

Днем восстания наметили 30 октября.

Но стихия прорвалась.

Утром 25 октября артиллеристы форта „Константин“, давно уже роптавшие на плохое питание, опрокинули котлы.

На форт примчался комендант. Но его встретили криками: „Довольно, натерпелись!“

26-го 40 солдат второй роты второго крепостного батальона предъявили своему батальонному требования.

Вечером все сорок были арестованы и направлены по железной дороге на один из фортов.

Но об этом проведали матросы. На разъезде против Высокой улицы они преградили дорогу поезду с арестантами и потребовали их освобождения.

Конвой открыл огонь. Один матрос был убит, другой смертельно ранен.

Это столкновение произошло уже вечером. Но весть о расправе с солдатами и убийстве матросов мгновенно облетела экипажи.

4-й и 7-й флотские экипажи расхватали винтовки, вышли на улицу. К ним присоединились матросы еще 11 экипажей. 3-й и 5-й батальоны крепостной артиллерии, посланные на усмирение матросов, примкнули к восставшим.

Это было то стихийное выступление, которое старались предотвратить большевики. Но восстание началось. И военная большевистская организация должна была возглавить его.

Ночью восставшие захватили телеграф и телефон, лишили Кронштадт связи со столицей.

У коменданта не было сил, чтобы в открытом бою разгромить двенадцать флотских экипажей и большие группы артиллеристов и минеров, захвативших к тому же некоторые форты.

Но на стороне командования был большой опыт борьбы с недовольными и бунтовщиками. Полиция спровоцировала погром складов, винных лавок, и часть нестойких солдат и матросов примкнула к погромщикам.

А тем временем к Кронштадту стягивались войска – из Ораниенбаума, Петергофа и Петербурга.

Полиция, офицеры, солдаты, оставшиеся верными правительству, затеяли в некоторых местах перестрелку.

В ответ матросы разгромили помещение офицерского собрания и… разошлись спать по своим казармам.

Солдаты тоже ночью отдыхали.

Это, конечно, предрешило исход восстания. Вместо того чтобы наступать, овладевать фортами, боевыми кораблями,

арсеналами, восставшие практически выжидали.

Конечно, можно задаться вопросом: а о чем же думали большевики, где был Дубровинский, почему они не повели за собой солдат и матросов?

Ответ, видимо, будет один, и его сформулировал адмирал С. Ф. Найда, исследовавший историю революционного движения в Балтийском флоте 1905–1907 годов:

„Весь ход событий говорит так же и о том, что социал-демократы не могли охватить все движение своим руководством и что в среде самих солдат и матросов крайне мало еще было социал-демократов“.

И конечно, горстка большевиков, Дубровинский, никому здесь не известный, были бессильны активизировать солдат и матросов, ожидавших, что начальство все же удовлетворит их требования.

27-го еще шла перестрелка, но к вечеру пыл восставших начал спадать. Воспользовавшись этим, командование переправило в Кронштадт верные войска, и 28-го началось разоружение солдат и матросов, начались обыски, аресты, продолжавшиеся до 1 ноября.

Дубровинскому нужно было выбираться из Кронштадта. И не только из-за опасности ареста или даже расправы на месте. Он должен был доложить ЦК и Петербургскому комитету о восстании. Нужно было поднимать на защиту солдат и матросов, которым угрожал военно-полевой суд и смертная казнь, рабочих России.

Во всех биографиях Иосифа Федоровича фигурирует колоритная сцена, как он, притворившись пьяным мастеровым, ловко обманул бдительность патрулей и добрался до парохода, уходившего в Петербург. Но в каждой биографии есть и разночтения. Иногда эту сцену относят ко второму пребыванию Иосифа Федоровича в Кронштадте, летом 1906 года.

Во всяком случае, он выбрался благополучно. И попал в Петербург к приезду Ленина. Владимир Ильич, как известно, приехал 8 ноября. Видимо, вскоре и произошла первая встреча Дубровинского с Лениным.

Первая встреча с Ильичем!

Наверное, как большевики, единомышленники, они говорили и о Кронштадтском восстании и о том, что зреет восстание в Москве, возможно, обсуждали состояние дел в партии – протоколов беседы нет.

Но это была не просто первая встреча единомышленников, давно друг друга знающих, но волею судеб никогда ранее друг с другом не сталкивающихся.

Это была первая встреча двух людей, двух характеров, встреча, положившая начало близости, взаимной приязни.

Если забежать немного вперед, если вспомнить, что с этого памятного ноября 1905 года и до последнего расставания в 1910-м эти два человека сохраняли и понимание и близость, хотя и не часто виделись и не всегда друг с другом соглашались, то не будет слишком смелым предположить, что в ноябре 1905-го Дубровинский стал для Ильича не просто Иннокентием, Ильич увидел в нем не только крупного партийца и отважного революционера-практика, но и человека, которого он стал называть не иначе, как Инок. Человека, о котором помнил до своих последних дней и нередко восклицал: „Эх, нет Инока!“ И это восклицание, всегда выражая горечь утраты, иногда означало: „Был бы жив Инок, он бы сорганизовал!..“ Или: „Как жаль, что нет Инока, он бы порадовался вместе с нами!..“

Вспоминая об Иноке, его встречах с Лениным, Надежда Константиновна Крупская свидетельствовала: „В 1905 году Ильич увидел Иннокентия на работе. Он видел, как беззаветно был предан Иннокентий делу революции, как брал на себя всегда самую опасную, самую тяжелую работу – оттого и не удалось Иннокентию побывать ни на одном партийном съезде: перед каждым съездом он“ систематически проваливался. Видел Ильич, как решителен Иннокентий в борьбе: он участвовал в Московском восстании, был во время восстания в Кронштадте. Иннокентий не был литератором, он выступал на рабочих собраниях, на фабриках, его речи воодушевляли рабочих в борьбе, но, само собой разумеется, никто их не записывал, не стенографировал». Позже, вспоминая 1908 год, Крупская писала: «…Ильич видел, что никто так хорошо с полуслова не понимает его, как Иннокентий… Ильич в то время сильно привязался к Иноку…» Это понимание с полуслова, эта привязанность не возникают вдруг. И наверное, узы дружбы, привязанности, понимания сплели свой первый узелок в ноябре 1905 года.

Глава VII

В Петербургском комитете сказали, что он должен как можно скорее ехать в Москву. Его «командировка» в Кронштадт оказалась, к сожалению, кратковременной. Да, к сожалению. Он не чувствует за собой вины, и все же на душе очень и очень скверно. Восстание подавлено, и сотни моряков пойдут под суд, военно-полевой суд. А это для многих означает расстрел. Правда, петербургский пролетариат уже выступил в защиту кронштадцев. И сейчас не те времена, когда с такими выступлениями можно было бы не считаться. И все же скверно.

Николаевская дорога работает исправно. А остальные дороги московского узла бастуют. Да и не только московского. По приезде в Москву нужно поставить перед комитетом вопрос о Николаевской. Ведь случись восстание в столице или в первопрестольной, и правительство сможет по этой дороге перебрасывать войска.

Сегодня в голову лезут мрачные мысли. К тому же в Кронштадте ухитрился простудиться, и снова душит кашель, и опять появилась кровь. И сжимается сердце. Дочки выросли, а ведь он и не видел, когда и как. Наездами, наскоками и по большей части ночью бывал он дома. Заставал дочерей спящими, удивлялся, если замечал, что детские кроватки заменили новыми, уже почти взрослыми. Как редко ему выпадало поиграть с дочурками, взять их на руки и побежать куда-нибудь в лес или к реке, слышать счастливый смех и самому быть счастливым!

Говорят, что от таких мыслей люди раскисают. Нет, это неправда. Конечно, веселее на душе не стало. Душа – черт знает, что это такое, но она есть, только вот слово-то это попы и поэты уж очень засидели, как мухи оконное стекло.

Дубровинский никак не может найти удобную позу на жесткой полке вагона. Крутится, кашляет, пытается заснуть, но не спится. Не вслушиваясь, слышит приглушенные голоса.

Соседи в купе – по одежке и не поймешь кто. Не то городские крестьяне, не то деревенские горожане. Но, видать, «выбились в люди». По всей видимости, приторговывают, пообвыкли в городах, но корень их все равно на селе. Вполголоса и не таясь рассуждают о том, как «суседи барина своего пожгли, честь честью, всем миром. А самого упредили, чтоб все было без греха».

Да, мало еще, очень мало внимания обращают большевики на деревню. Пролетариат уже взялся за оружие, вот-вот вспыхнет восстание. Даже армия и особенно флот начинают открыто переходить на сторону рабочих, а деревня все еще на уровне

пугачевщины. Раскачивается, осенив лоб крестным знамением, жжет, ломает ненавистное, помещичье и подгребает под себя землю. Это именно бунт земли, в который еще предстоит внести революционное сознание.

С этими мыслями приехал в Москву и не утерпел – поделился с членами МК. Не он один, оказывается, настороженно и с надеждой прислушивался к грозному гулу, доносящемуся из деревенской глуши, не он один думал о той силище, которую таит в себе мужик, не он один прикидывал, как бы этого Антея организовать, и тогда он станет надежной опорой и союзником рабочих.

Кто-то из комитетчиков горько посетовал, что, кажется, придется варьировать старый народнический лозунг «земля и воля». Дубровинский не сдержался.

– Вы только вслух об этом не говорите – засмеют. – И вдруг засмеялся сам, представив себе, как большевики подлаживаются под эсеровскую вывеску.

– Нам ни у кого не надо перенимать и варьировать. Глубинное крестьянство идет за рабочими, за нами, хотя самому ему кажется, что оно идет за эсерами. А эти простачки воображают, что деревня за ними, и плетутся в хвосте у конституционных демократов. И Дядько прав: не исключена возможность ближайшей борьбы за конечные цели – об этих именно лозунгах приходится теперь думать.

Никто не возражал, и только Шанцер простуженным голосом проворчал что-то о «нашей правой блудливой руке» – так он неизменно величал меньшевиков и не уставал зло издеваться над ними.

Только теперь Дубровинский как следует мог познакомиться с членами Московского комитета РСДРП. Он и раньше встречался с некоторыми из них, но теперь они вместе и составляют одно целое.

Сразу бросалось в глаза, что всю работу Московской организации направляет Шанцер, или Марат, под этой кличкой его знают и в комитете и на заводах и фабриках. Это старый революционер с тюремным стажем, с закваской ссыльных. Он же и представитель ЦК в Москве.

С Розалией Землячкой Иосиф Федорович знаком давно.

Землячка очень обрадовалась приезду Дубровинского. Людей не хватает, а тут еще такие невосполнимые потери – Бауман, Грожан. Иннокентий рассчитывал, что Розалия Самойловна вновь пошлет его в район, на фабрики, как это было в первый день по выходе из Таганки. Он даже улыбнулся этим недавним воспоминаниям.

– Вы чему радуетесь? Иннокентий расхохотался.

– Да вот припомнил, как вы огорошили меня и Носкова. Как это вы тогда поучали членов ЦК: «Там сейчас основная работа, товарищи! Нужно поднимать низы, а вы в тюрьме уже немного отвыкли от этого». А? Ловко! И не на тюрьму вы намекали, а на то, что члены ЦК от низов оторвались, особливо в скверные дни примиренчества. Не так ли?

Теперь уже смеялась и Землячка.

– А помните, как Борис раскипятился? «Черт знает что! – орет. – Мы, по-вашему, должны проходить снова выучку от кружка?»

– Где он, кстати? В Москве?

– Нет, потолкался, потолкался в белокаменной и уехал в Иваново.

– Ну что же, я ведь тогда ему акафист прочел па-счет того, что вы в конце концов правы, отстали мы малость. Прикажете проходить искус до конца, снова в район?

– Район от вас не уйдет. Считайте, что вы закреплены за Рогожско-Симоновским. От него и в Московский комитет войдете. Но пока есть одно очень важное дело – поставить свою газету, свой комитетский орган. Андрей Квятковский уже хлопочет, и вам нужно заняться этим. Официальным представителем от МК в редакцию войдет Васильев-Южин.

Квятковский хлопочет? Значит, где-то тут и Мирон и Голубков. Старые друзья еще до октябрьских дней обосновались в Москве. Соколова осенью выпустили из Лукьяновки, и Дубровинский встретился с ним, но толком и поговорить не успели.

Сошлись через несколько дней. Действительно, Квятковский подключил Соколова и Голубкова к организации издания. Это хорошо. У них опыт. Правда, до сего времени им приходилось ставить подпольные типографии. Как оказалось, основать легальную газету, большевистскую при этом, пожалуй, труднее, чем наладить ее регулярный выпуск в подполье.

Мирон рассказывал, что ему удалось договориться с жуликоватым, скользким и изворотливым издателем и владельцем типографии Холчевым. Он пока либеральничает, хотя его бульварный листок «Вечерняя почта» всеяден. Противно, конечно, иметь дело с этаким типом, но есть и преимущество – заказов у сего господина с гулькин нос, а в типографии имеется свободное место.

Достать разрешение администрации не удалось, но в настоящий момент это и не так важно. Газета выйдет явочным порядком. Квятковский и Мирон уверены, что пора начинать

рекламную кампанию.

Дубровинскому не очень-то по душе такая самонадеянность новоявленных издателей. И он плохо верит в либерализм Холчева. Но делать нечего, надо готовить первый номер.

Иосиф Федорович переселился в помещение редакции. И спал там на кипах каких-то газет и журналов.

А днем в редакции вечная сутолока. Приходят студенты и курсистки, рабочие и журналисты. И несут, несут корреспонденции.

Кончался ноябрь, и неимоверно выросло влияние социал-демократов, и особенно большевиков, на рабочих в профессиональных союзах, окружных деревнях.

Либеральная буржуазия уже позабыла о былых своих мечтаниях и металась в трепете. Трепетали и царские слуги.

Московский градоначальник барон Медем в рапорте министру внутренних дел 16 ноября писал:

«18 октября, неожиданно для московской администрации… появление высочайшего манифеста нарушило нормальную жизнь и дало возможность революционной партии дерзко проявить о своем существовании, причем на генерал-губернаторском доме взамен национальных флагов появились какие-то красные знамена с революционными надписями, и эти подошедшие к дому анархисты вынудили у генерал-губернатора, а затем и у прокурорского надзора о немедленном освобождении всех арестованных по политическим делам, что и было спешно выполнено».

Немецкий барон явно не ладил с русской грамматикой и был страшно растерян – подумать только, губернатор и охранники не посмели удалить с губернаторского дома красные флаги! А ведь на них было написано: «Долой самодержавие!»

Медем заявил о своем «физическом изнеможении» и попросился в отставку. Николай II на рапорте перепуганного градоначальника начертал: «Грустно».

Императору было не просто грустно, самодержавие чувствовало себя как на горячих углях.

Всероссийская октябрьская стачка уже вплотную ставила вопрос о вооруженном восстании. И в этой атмосфере всеобщего возбуждения московский пролетариат во всеуслышанье провозгласил своим единственным вождем и руководителем Российскую социал-демократическую партию большевиков.

Дубровинский с удовольствием читал постановление собрания рабочих ряда фабрик и заводов Замоскворецкого района от 27 ноября 1905 года:

«Отныне мы признаем защитницей и выразительницей наших

интересов Росс[ийскую] с[оциал]-д[емократическую] р[абочую] партию и только под ее руководством будем вести дальнейшую борьбу как с капиталистами, так и с правительством.

Мы шлем своим товарищам, рабочим всей России, свой горячий привет и приглашаем их на дальнейшую борьбу за свободу пролетариата…»

Ну конечно же, это постановление, это обращение, это «приглашение» должно быть опубликовано в первом же номере «Вперед».

Материалов набралось много.

Но этот прохвост Холчев!..

Все случилось так, как и должно было произойти. Когда первый номер был готов и оставалось только его отпечатать, Холчев потребовал разрешения администрации. И надо было видеть, как этот господинчик кривлялся, прикладывал руки к груди, заверяя, что это, разумеется, пустая формальность и он сам всегда был за явочный порядок… Но инспектора!.. Они ведь такие бюрократы, и он во имя же интересов издателей «Вперед» не может рисковать закрытием типографии.

Соколов и Квятковский глаз не смели поднять на Иннокентия. Что теперь делать? Добывать разрешение? Поздно. Искать нового издателя – где гарантия, что новый в последний момент не приложит ручки к груди и тоже не будет ссылаться на формалистов инспекторов?

В Московском комитете напомнили – есть старое разрешение на издание библиографического еженедельника «Книжный рынок». Решили набрать это название в заголовок мелким шрифтом, а крупно – «Вперед».

Типография на Тверском бульваре, редакция в фешенебельном доме на Никитской. Управляющий домом какой-то полковник, не то в отставке, не то – шут его знает, во всяком случае монархист. Заключая договор на помещение, не стесняется – вовсю костит манифест, ирода Витте и прочих христопродавцев из чиновников и немцев.

Деньги за аренду потребовал чуть ли не за полгода вперед. Когда же получил отказ, согласился и на месяц, – видно, дела у домовладельца не блестящие.

Утром 2 декабря члены редакции торжественно приготовились встретить первенца нового большевистского издания. От начала Тверского бульвара до Никитской рукой подать. Но прошел час, другой… Вдруг в редакцию врываются два брата Мураловых – работники экспедиции новой газеты – и, перебивая друг друга, путано рассказывают, что ломовик, на котором везли тираж, был окружен какими-то «неизвестными»,

один схватил лошадь под уздцы, остальные вмиг расхватали кипы газет и начали рвать их, топтать, раскидывать…

Все были ошеломлены этим известием. Конечно, никто не сомневался, что декларированная манифестом свобода печати – это только фраза, что на деле существует лишь свобода погрома печати. Удивляло другое – как черносотенцы пронюхали о часе, когда из типографии повезут тираж? Этот час нигде в рекламных объявлениях, конечно же, не упоминался, и незачем это было делать.

Подозрения пали на господина Холчева. Но доказательств не было.

Быстро решили – Мураловы организуют охранную дружину. Утром дружинники будут эскортировать тираж от типографии до редакции. Причем дружинники должны быть вооружены и держать оружие наготове.

Прошло несколько дней. И новый сюрприз. Кто-то попытался повредить типографские машины, на которых печаталась газета. Встал вопрос об охране и типографии.

Задолго до прибытия транспортного кортежа в подъезде редакции полно парода. Особенно много здесь толчется ободранных, но бойких и языкастых мальчишек. Этим все нипочем. Газетные киоски отказываются брать «Вперед» – появление большевистской газеты на их прилавках грозит немедленным погромом и избиением киоскеров. А мальчишки-газетчики – народ дерзкий, увертливый. И у этих пострелят уже хорошо развито классовое чутье. Они считают «Вперед» своей, «правильной» газетой и распродают ее в первую очередь.

Из районов, с фабрик и заводов за газетой приходят специальные гонцы, безработные в данный момент пролетарии. Именно через них газета и доходит до тех, кому она предназначена.

Газета газетой. Но у Дубровинского полно и иных забот.

Он член Московского комитета РСДРП, он партийный руководитель Симоновской слободы.

22 ноября 1905 года в жизни пролетариата Москвы произошло событие огромной исторической важности.

Оформился и собрался на свой первый пленум Московский Совет рабочих депутатов. В Совет вошли не только большевики. Были в нем и меньшевики, были и эсеры. Но декларации и практические решения Московского Совета в подавляющей части были большевистскими.

Это признавали даже меньшевики. «Обычно, – писал меньшевик Колокольников, – на заседаниях Совета после небольшого доклада Васильев-Южин (член МК и Московского

Совета. – *В. П.)* оглашал написанные им… резолюции и декларации, которые затем голосовались и принимались почти без прений».

Почти одновременно возникли и районные Советы. Эти Советы ближе стояли к рабочей массе, и они осуществляли практическое руководство революционной борьбой московского пролетариата.

Рогожско-Симоновский районный Совет. Партийным руководителем Симоновки был Иосиф Федорович. И рабочие района тщательно готовились к вооруженной борьбе, к восстанию. Был создан боевой штаб будущего восстания, формировались рабочие дружины. В этой «чертовой слободке», как черносотенцы окрестили Симоновскую слободу, городовые и полиция уже в начале декабря исчезли с улиц.

Иосиф Федорович особое внимание обратил на формирование рабочих дружин. Добровольцев-рабочих было хоть отбавляй, но с оружием дело обстояло из рук вон плохо.

Как ни старались большевики, закупая его большими партиями за границей, особенно в Бельгии, добывая его на Сестрорецком, Тульском, Брянском и других оружейных заводах, – оружия не хватало. В Финляндских шхерах сел на мель и был взорван пароход «Джон Граф-тон», который должен был доставить несколько тысяч винтовок, револьверов, патронов к ним, запасы динамита. История этой экспедиции темная. Пароход снаряжали эсеры и поп Гапон. Но в последний момент они обратились к Ленину, большевикам, предлагая им организовать встречу и разгрузку оружия. Много позже стало известно, что вся эта экспедиция была тонко задуманной провокацией со стороны охранки и Гапона.

Какую-то незначительную часть оружия с погибшего парохода подобрали рыбаки. Максим Максимович Литвинов скупил у них все, что было можно, но это была все-таки капля в море.

Дубровинский хорошо отдавал себе отчет, что произойдет, если в момент восстания московский гарнизон останется верным правительству. С револьверами и самодельными бомбами против винтовок, пулеметов и артиллерии долго не продержишься. Московские большевики делали все, чтобы добыть оружие.

Еще в октябре 1905 года Московский комитет отпустил 7721 рубль на приобретение оружия. В ноябре на закупку оружия истратили 10 530 рублей. Алексей Максимович Горький из личных средств предоставил комитету 15 тысяч рублей. Владелец мебельной фабрики Н. Шмит на свои деньги вооружил дружину этой фабрики и дал, по совету Горького, 20 тысяч рублей Московскому комитету. Средства собирались повсюду, но их не

хватало, как и не хватало оружия.

В Рогожском районе на заводе «Динамо» Дубровинский видел, как рабочие выковывали пики, вытачивали ножи, кинжалы, просто острили первые попавшиеся под руку металлические прутья.

Да, московский пролетариат не сомневался: ему предстоят бои.

Московский комитет большевиков понимал, что восстание в Москве еще ничего не решает. Москва может начать, но ее должны поддержать другие промышленные города. И прежде всего Петербург. В конечном итоге там, в столице, и должна решиться судьба восстания. Значит, прежде чем его начинать, необходимо связаться с Центральным Комитетом, с Лениным, получить от них директивы.

30 ноября секретарь Московского комитета и постоянный представитель ЦК в Московской организации Шанцер и член Московского Совета Лядов выехали в Петербург. Там они встретились с Лениным, получили от него указания.

Мартын Лядов вспоминал: «Перед отъездом в Москву Ильич дал нам подробные директивы для МК. Он считал наиболее важной задачей в настоящую минуту во что бы то ни стало добиться через голову меньшевиков единства рабочих… „У вас в Москве, – говорил Ильич, – Московский Совет проводит все то, что решено МК, вы – через Совет проводите влияние Комитета на беспартийные рабочие массы, а у нас в Питере Совет ползет за беспартийными массами, он делает все, чтобы дискредитировать самую идею вооруженного восстания. Вам легко удастся повести за собой рабочих и создать настоящую боевую большевистскую организацию, авторитетную в глазах всех рабочих“».

Из Петербурга в Москву накануне восстания приехал А. М. Горький. Немного позже Ленин туда же, в Москву, послал члена ЦК Любича (Иван Адамович Саммер).

Теперь Московский комитет, имея директивы Ленина, должен был практически решить, когда и как начинать восстание.

4 декабря. Морозно. Воздух застыл, словно огромная, прозрачная сосулька, и даже чуть звенит.

Мыльников переулок. Здание реального училища Фидлера. Здесь поместился штаб боевых дружин Москвы. Здесь под охраной дружинников сегодня состоится закрытое заседание Московского комитета большевиков. Иосифу Федоровичу поручено председательствовать на заседании.

Он, конечно, понимал, какая мера ответственности за принятые решения лежит на председателе заседания. Решения принимаются в прениях голосованием, но к голосу

председательствующего прислушиваются особо. От того, как он поведет заседание, на чем будет акцентировать внимание собравшихся, наконец, чью сторону сам изберет, зависит очень многое. А ведь на этом заседании должен решаться ни много, ни мало, а вопрос о вооруженном восстании.

На заседание уже прибыли партийные организаторы районов. Пришел и представитель ЦК Любич.

Это было деловое заседание. Сообщения партийных организаторов о волнениях в гарнизоне и готовности районов к выступлению. Короткие прения. И Московский комитет признал создавшуюся в городе обстановку благоприятной для того, чтобы объявить всеобщую политическую стачку и перевести ее в вооруженное восстание.

Конечно, несколько смущало сообщение Любича об аресте Исполкома Петербургского Совета, о неготовности столицы к восстанию. Но члены комитета были уверены – столичный пролетариат в дни восстания не останется в стороне.

Вечером того же дня должен был состояться третий пленум Московского Совета, на котором ожидалось присутствие большого числа гостей – рабочих с московских заводов и фабрик и по 20 представителей от партий – большевиков, меньшевиков, эсеров.

Пленум высказался за восстание, но меньшевики и эсеры настояли на том, чтобы не принималось никакого решения до тех пор, пока вопрос о вооруженном восстании не будет обсужден непосредственно на предприятиях. Они еще надеялись убедить рабочих в безнадежности восстания.

Пленум согласился обсудить 5 декабря на фабриках и заводах вопрос о стачке и вооруженном восстании, с тем чтобы 6 декабря принять окончательное решение.

Митинги рабочих начались еще вечером 4-го и проходили весь день 5 декабря. Резолюции митингов были равнозначными.

Рабочие городского хозяйства: «Примкнуть к всеобщей политической забастовке с целью добиться освобождения всего русского народа всеми имеющимися в распоряжении пролетариата средствами по первому распоряжению Московского Совета рабочих депутатов».

Рабочие типографии Кушнарева требовали ответить на «вызов правительства всеобщей забастовкой, надеясь, что она может и должна перейти в вооруженное восстание».

И так повсеместно – фабрика за фабрикой, завод за заводом.

Поздний вечер 5 декабря. Снова училище Фидлера. И снова Иосиф Федорович занимает председательствующее место.

Но сегодня в училище уже не закрытое заседание, а

общегородская конференция большевиков Москвы. Здесь же присутствуют представители большевистских организаций Подольска, Звенигорода, Волоколамска, Тулы, воинских частей.

Дубровинский говорил первым. Говорил о готовности пролетарской Москвы к восстанию. Москва подвалов и бараков, Москва гулких заводских пролетов ждет призыва.

Мартын Лядов вспоминает: «Я отлично помню эту конференцию. Настроение всех собравшихся было чрезвычайно серьезное. Дружинники тщательно охраняли вход в училище и внимательно проверяли каждый мандат».

Дальше память несколько изменила Лядову. Он пишет: «Марат особенно торжественно открывает собрание кратким вступительным словом…» Но собрание открывал Дубровинский. Как председательствующий, он предоставлял слово и очередным ораторам.

«Говорят не районные организаторы, даже не передовые партийцы-профессионалы, а рабочие от станка – действительные представители с предприятий. И все их речи были совершенно однообразны: вчера или сегодня обсуждался вопрос по цехам, принято было единогласное решение поддержать питерцев, на заводе имеется такое-то количество вооруженных, мастерские готовят пики, кинжалы, полосы железа для нападения; если Московский комитет не объявит восстания, рабочие восстанут сами, ведь их трудно было удержать еще во время восстания Ростовского полка.

Я не помню, сколько было произнесено таких речей (их было много), но, наконец, начали раздаваться голоса, что пора прекратить прения».

Тогда Дубровинский «предлагает дать слово тем, кто хочет высказаться против восстания».

Вопрос о вооруженном восстании ставится на голосование.

И лес рук. Объявить 7 декабря всеобщую забастовку и начать вооруженную борьбу.

«Члены комитета остались на заседание комитета. Все чувствовали, что сейчас принято величайшей важности историческое решение. Ни у кого не было полной уверенности, что мы действительно победим на этот раз, но зато большинство было уверено в том, что, если бы мы не подняли в этот момент перчатки, революция была бы наверняка разбита. Реакция, поддержанная теперь открыто всей буржуазией, уже ни перед чем не остановилась бы, она наглела бы все больше и больше. Наше, даже неудачное, восстание, безусловно, оттянет окончательную победу реакции, даст нам возможность лучше организовать дальнейший ход революции. Поэтому принятое решение было

единственно возможным решением. И нужно принять все меры к тому, чтобы провести наилучшим образом московское восстание и чтобы наш ЦК добился поддержки нашего восстания другими местами, в особенности Петербургом и по линиям железных дорог.

…Был принят ряд практических мероприятий: было решено выделить Исполнительную комиссию из трех членов (Марата, Васильева-Южина и меня) и двух кандидатов – Савкова и Лешего (Доссера), всем остальным членам комитета разойтись по своим районам и жить непосредственно в районе все время восстания; Исполнительная комиссия должна у себя сосредоточить все руководство восстанием; все районные дружины должны быть непосредственно подчинены боевому организатору. Было принято решение и насчет того, чтобы подробная информация о сегодняшней конференции была дана в наших газетах „Вперед“ и „Борьба“».

В. И. Ленин. 1897 г., С.-Петербург.

Н. К. Крупская. 1903 г.

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КРУЖКА «МОСКОВСКОГО РАБОЧЕГО СОЮЗА».

С. И. Прокофьев.

А. Д. Карпузи

А. И. Хозецкий.

К. Ф. Бойе.

П. С. Мокроусова-Карпузи.

Ф. И. Поляков.

Е. И. Немчинов.

Дом на Немецкой улице (ныне улице Баумана) № 23, в котором собирался Центральный рабочий кружок.

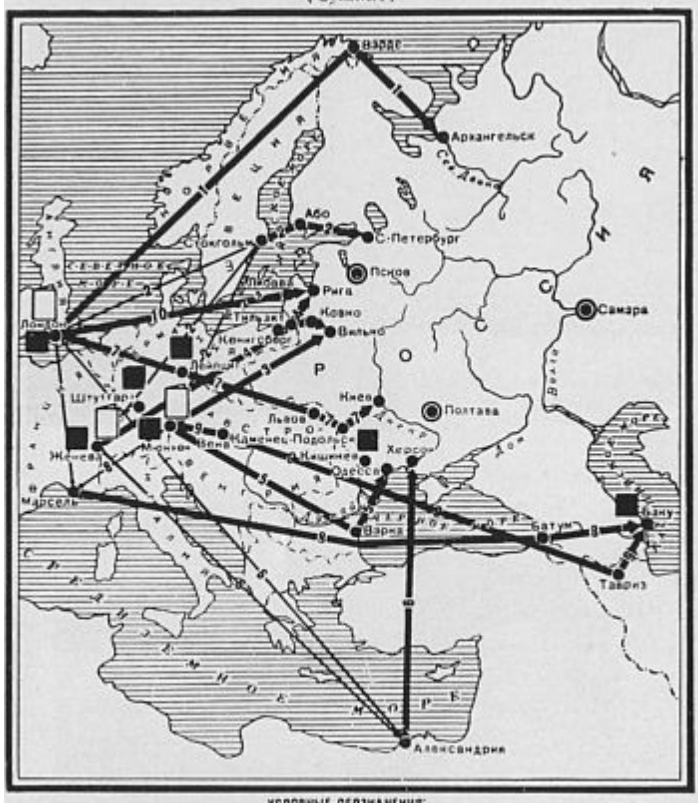
М. И. Ульянова.

А. И. Елизарова.

Д. И. Ульянов.

ОРГАНИЗАЦИЯ „ИСКРЫ“

(СХЕМА)



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Пути транспорта
- Трасса с нескольких пунктов отправления
- Города, через которые транспортировалась газета „Искра“
- Редакция „Искры“
- Типография „Искры“
- Бюро организации „Искры“

И. Ф. Дубровинский в 1899 г.

Яранск. В двухэтажном доме (справа) жил И. Ф. Дубровинский (1899–1902).

ДЕЯТЕЛИ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП В РЕВОЛЮЦИИ 1905–1907 ГОДОВ.

Р. С. Землячка.

И. И. Скворцов-Степанов.

В. Л. Шанцер.

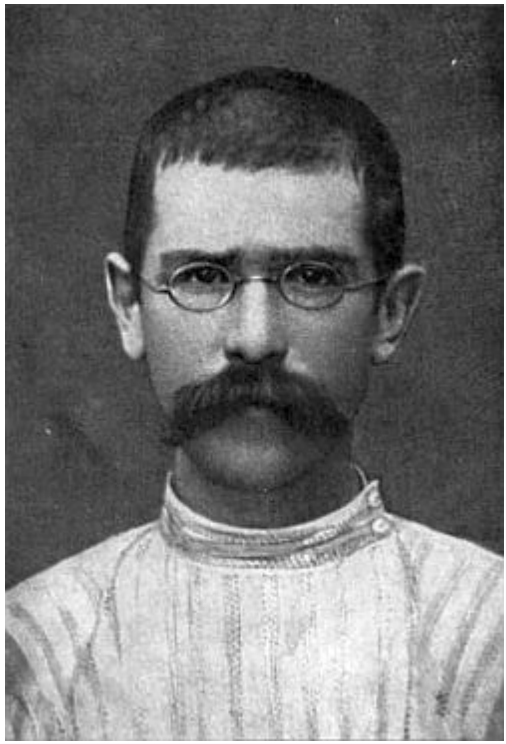
М.И. Васильев-Южин.

З.Я. Литвин-Седой.

М.Н. Покровский.

Н.А. Рожков

В. В. Воровский—студент Высшего технического училища.



В. П. Ногин в ломжинской тюрьме в 1904 г.

9 января 1905 года у Зимнего дворца. С картины И. А. Владимирова.

Похороны Н. Э. Баумана 20 октября 1905 г. (третий справа в цепи – И. Ф. Дубровинский).

Н. Э. Бауман.

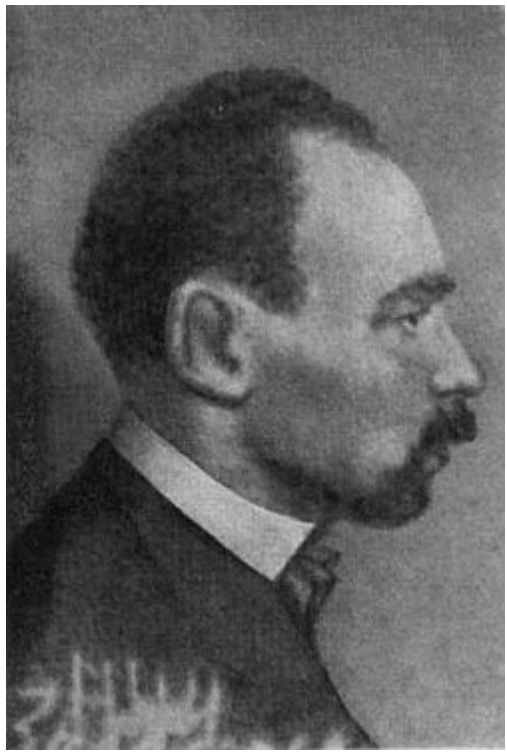
Похороны Н. Э. Баумана 20 октября 1905 г.

Выступление И. Ф. Дубровинского на митинге в Кронштадте 23 октября 1905 г.

Студенческая демонстрация в Петербурге после манифеста 17 октября 1905 г.

Баррикады в Оружейном переулке в Москве в декабре 1905 г.

Баррикады на Малой Бронной в Москве в декабре 1905 г.



И. Ф. Дубровинский в 1909 г.

Могила И.Ф. Дубровинского в Красноярске.

Много лет прошло с той славной поры Московского декабрьского восстания. Его ход многажды описан очевидцами, собраны всевозможные документы, исследователями созданы сотни специальных работ.

И нам нет необходимости повторять давно известные, ставшие хрестоматийными факты героической борьбы московских рабочих 7—18 декабря 1905 года.

Но очевидцы почти не упоминают в связи с этими событиями имени Иннокентия – Дубровинского. Он в Симоновском подрайоне. И это так, вскользь.

А между тем Дубровинский руководил двумя важнейшими заседаниями большевиков. Заседаниями, которые и предрешили начало восстания.

Зная дисциплинированность Иосифа Федоровича, можно утверждать, что он, подчиняясь решению Московского комитета, перебрался в свой Рогожско-Симоновский район, чтобы оставаться там до конца восстания.

В ходе вооруженной борьбы Рогожско-Симоновский район был очень скоро отрезан от центра и других очагов восстания.

Один из активных деятелей Совета Рогожского района, П.

Терехов, писал:

«В эти дни районный Совет естественно стал центральной организацией района: к нему стало обращаться со своими нуждами трудящееся население, например, ломовые извозчики, домашняя прислуга. Районному Совету пришлось взять на себя заботу о нуждах рабочих; он вынес постановление об отсрочке взносов квартирной платы; и с этим постановлением считались домовладельцы. Совет запретил повышать цены на продукты и прекращать торговлю в лавках; он предписал торговцам отпускать продукты для рабочих в кредит. Совет имел возможность подкрепить свои постановления реальной силой, опираясь на вооруженные дружины… Так в эти недолгие дни у нас зарождалась власть Совета рабочих депутатов; наш районный Совет, опиравшийся на рабочую массу, фактически являлся зачатком новой, революционной власти».

Бесспорно, все эти мероприятия осуществлялись с ведома, а быть может, и по инициативе партийного организатора района – Иосифа Федоровича Дубровинского.

Но Дубровинский был не только районным партийным руководителем. Он отвечал и за всю редакционно-издательскую работу в Московском комитете.

Правда, Исполнительный комитет Московского Совета постановил закрыть с 7 декабря все газеты, кроме «Известий» – официального органа Московского Совета рабочих депутатов. Была приостановлена и газета «Вперед».

Но редакционная работа комитета продолжалась, ведь и в дни восстания в Москве издавались сотни листовок. И Дубровинский принимает участие в их редактировании.

После ареста 7 декабря Шанцера, Васильева-Южина и некоторых других большевистских руководителей штаб вооруженного восстания был значительно ослаблен. Оставшиеся на свободе члены Московского комитета поделили между собой обязанности, которые до этого выполняли арестованные товарищи.

А круг этих обязанностей был очень широк. Тот же Михаил Иванович Васильев-Южин впоследствии вспоминал о своей «нагрузке» в 1905 году:

«Каждый из немногочисленных ответственных партийцев нагружался бесконечным рядом обязанностей и поручений. Припоминаю для примера о своих обязанностях. Я был членом МК, членом его Исполнительной комиссии, членом Федеративного совета, членом Исполнительного комитета и президиума Совета рабочих депутатов, заведовал агитацией, был ответственным редактором газеты Московского комитета

„Вперед“, входил в состав редакции газеты „Борьба“, представительствовал от имени МК в ответственных собраниях (например, на ноябрьском съезде крестьянского союза), писал или редактировал прокламации, выступал в качестве агитатора на рабочих собраниях и т. д. и т. п. В таком же положении были и все ответственные партийные работники. Разумеется, справляться со всей массой этой работы было свыше человеческих сил, и мы частенько работали круглые сутки в условиях нелегального существования, постоянной смены ночевок и т. п.».

Это очень интересное признание. И оно, конечно, целиком относится и к Дубровинскому. Он тоже был «ответственный» и работал, превышая человеческие силы.

Вот это разнообразие обязанностей, видимо, заставляло Иосифа Федоровича не сидеть на одном месте. И, несмотря на баррикадные бои, перестрелку, бывать всюду, где требовался организатор, оратор, редактор, член Московского комитета.

10 декабря Совет рабочих депутатов Симоновки провозгласил «Симоновскую республику». Совет ведал всем, как об этом вспоминал Терехов, но органу восстания – районному Совету – не удалось осуществить главной своей задачи – захватить пороховые склады на Симоновском валу и влить в ряды дружинников солдат Крутицких казарм. Солдаты Крутицких и Александровских казарм были разоружены правительственными войсками.

Уже начиная с 14 декабря московские власти перешли в наступление. Артиллерийским огнем уничтожались баррикады на улицах. Захватив центр, драгуны и посланные им в помощь из Петербурга три полка, артиллерия из Тулы наступали на рабочие окраины.

15 декабря они вошли в «границы» «Симоновской республики». Остатки боевых дружин района прорвались на Пресню, которая продолжала неравную, но беспримерную борьбу.

Пресня опоясалась дымным кольцом пожаров. Артиллерия не умолкала ни на минуту. Но битва была проиграна.

Московский комитет и Совет рабочих депутатов по указанию Ленина приняли решение прекратить сопротивление.

И вот последний приказ штаба пресненских боевых дружин:

> «Мы начали. Мы кончаем… Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству».

По Москве разошлась 20-тысячным тиражом листовка Московского комитета с призывом прекратить стачку 19 декабря.

«Выходите на работу, товарищи! Становитесь на работу, товарищи, до следующей, последней битвы! Она неизбежна. Она близка… Ждите призыва!»

«Мы начали – мы и кончаем!» Это сказано очень точно.

Московское восстание было прекращено решением Московского комитета и Совета рабочих депутатов. Это был не разгром, а сознательное отступление. Московским большевикам предстояло перестроить свою работу. Тем, кто в дни восстания был уж очень на виду, необходимо на время скрыться, уехать в другие города, их места займут новые люди. Кое-кому придется уйти и в подполье. Это тяжело. Когда партия была в подполье, когда ее функционеры жили на нелегальном положении, то это воспринималось естественно. Но в октябре большевики вышли из подполья, превратили небольшую законспирированную организацию в широкую, массовую. И в ноябре и в декабре у многих товарищей окрепло убеждение, что с подпольем покончено. Эти люди требовали, чтобы были «вытащены наружу» типографии, рассекречены явки. Но московские большевики этого не сделали. За два месяца они не растеряли навыков конспирации, сохранили подпольную технику. И теперь, снова становясь нелегальной, партия опиралась на обширнейшие связи с массами.

Конечно, когда снова забираешься в подполье, не успев даже как следует отдышаться на вольном воздухе, бравурные мелодии ни к чему. На нелегальное переходят в тишине и подальше от сторонних глаз.

Московские большевики этот переход совершили столь бесшумно, что генералу Дубасову показалось, что вожаки восстания не в пределах досягаемости.

А они все оставались в пределах Москвы.

И вовсе не собирались закрыть для себя отвоеванные «в дни свободы» легальные связи с рабочей массой.

И все же тяжело!

И теперь в подполье будет казаться еще теснее, еще более душно.

Иосиф Федорович не уехал из Москвы, хотя и очень «наследил» в этом городе. Пока Московский комитет не решит, что будет с газетами «Вперед», «Борьба», он, ответственный за издательскую работу комитета, должен оставаться на месте.

И раньше помещение редакции «Вперед» на Никитской привлекало к себе не только рабочих журналистов. Сюда приходили члены МК, здесь проводились собрания и совещания.

«Новый, 1906 год мы встретили в редакции газеты „Вперед“, –

вспоминает М. Лядов. – Собралась вся редакция во главе с Дубровинский и Голубковыми и еще кое-кто из комитетчиков. Газета „Вперед“ была уже закрыта постановлением генерал-губернатора. Московский комитет хотел выпустить новую газету. Было уже найдено помещение для редакции. Старому помещению на Никитской истекал срок аренды 1 января. Вот мы и собрались в этом старом помещении справить поминки по нашему восстанию, по бурным, радостным дням и одновременно отпраздновать начало новой работы. Собралось человек 15, все старые, давно знакомые друг другу товарищи, побывавшие во всех переделках. Мы провели вместе всю ночь, благо раньше 6 утра нельзя было выходить согласно положению о чрезвычайной охране. Надо признаться, выпили мы основательно за эту ночь. Нервы у всех были за все это время кипучей работы более чем потрепаны. Я вспоминаю разговоры, которые мы вели. Ни у кого ни малейшего уныния, ни малейшего сомнения насчет будущего нового подъема. Бодро звучали все речи, искренние, задушевные произносились тосты. Все чувствовали, что предстоит громадная живая работа и что все мы еще пригодимся для этой работы. Урок, который мы все пережили за это время, не пропадет даром. Мы пили много, но как-то никто особенно не пьянел, а только все задушевнее, сердечнее становились все мы. Утром я настаивал на том, чтобы осторожно разойтись, пока на улицах еще не появились шпики. Часть публики соглашалась со мной, но часть решила продолжать пирушку на новой квартире. Я их всячески отговаривал от этого, но бесплодно. Нас несколько человек ушло. Остальные перетащили вещи в новое помещение редакции и там все были арестованы. Днем их узнали и проследили сыщики».

Василий Соколов тоже вспоминает эту встречу нового, 1906 года. Только оставила она у него иное впечатление.

«Разрушенное „вчера“ и неопределенное „завтра“ – таково настроение встречи. Как будто именины после похорон. И безуспешны попытки Лядова разбудить карманьолой боевую бодрость минувших дней».

Но Соколову запомнились слова Дубровинского. Они звучали строго, и в них действительно не было уныния.

– Дорогие товарищи! Мы были крепки в борьбе, должны быть мужественны в поражении! Мужественными и твердыми без иллюзий. Иллюзии нужно отбросить! Надо запасаться фальшивками и бодро спускаться в подполье. Наш день вернется, и его нужно готовить самим!

И в этих словах весь Дубровинский. С его верой, его оптимизмом.

А ведь у подполья прежним остался только «люк».

Это понимал Иосиф Федорович. Об этом писал и Соколов: «… Подполье, как только начинаешь туда спускаться, оказывается значительно изменившимся. Жизнь из него представляется совершенно иною, чем раньше. Она не стояла на месте. Она развивалась и развивается, присвоила и усвоила уже новые пути в своем поступательном ходе.

Новые взаимоотношения классов, новые формы борьбы. Как ни убога конституционная действительность, она все же открывает кое-какие возможности использования.

И также новым должно стать подполье, входя в новую полосу работы. И с этой полосой связана длинная цепь подпольных переприспособлений, иных конспиративных навыков, более широкий размах работы.

Если хочешь жить, приходится переучиваться».

Глава VIII

До Москве еще рыскают жандармы, полицейские, филеры и снова столбами стоят городовые. В Москве еще опасно появляться на улицах в одежде с вкраплением красного. Еще хватают людей в пенсне, студенческих шинелях и просто с «подозрительными физиономиями». Ведь прошел только месяц с окончания Московского восстания.

Но в Москву приехал Владимир Ильич. Приехал, чтобы на месте познакомиться с положением дел.

Литературно-лекторская группа при Московском комитете во главе с М. Н. Покровским по заданию комитета уже приступила к изучению опыта и уроков Московского восстания. Она быстро готовила сборник «Текущий момент».

Ленин подолгу беседовал с партийными организаторами районов, членами лекторской группы.

Владимир Ильич прошел и по местам баррикадных боев. Еще ветры не сдули копоть пожаров, еще стояли, ощерившись мертвым оскалом оконных глазниц, выбитых дверей, типография Сытина, Прохоровская мануфактура, дома Пресни. Когда в марте Ленин снова приехал в Москву, его сопровождал Скворцов-Степанов, который и записал в своих воспоминаниях, что Владимир Ильич «…с жгучим вниманием относился… ко всему, связанному с Московским восстанием. Мне кажется, я еще вижу, как сияли его глаза и все лицо освещалось радостной улыбкой, когда я рассказывал ему, что в Москве ни у кого, и прежде всего у рабочих, нет чувства подавленности, а скорее наоборот… Организация частично глубже ушла в подполье, но вовсе не отказалась и от открытой агитации и пропаганды. Никто не думает отрекаться от того, что большевики делали в последние месяцы.

О панике, об унынии не может быть и речи. От повторения вооруженного восстания нет оснований отказываться».

Встречался ли Владимир Ильич в Москве с Дубровинский? По всей вероятности, нет. Скорее всего такая встреча произошла в начале января 1906 года в Петербурге. Во всяком случае, уже в конце января 1906 года Иосиф Федорович стал членом объединенного Петербургского комитета вместе с большевиками И. А. Теодоровичем, П. А. Красиковым, Ф. И. Голощекиным, Д. З. Мануильским, М. М. Эссен…

Но здоровье Дубровинского было подорвано вконец.

Не только физическое напряжение, сверхчеловеческая работа, бессонные ночи, недоедание, но и огромная нервная нагрузка

обострили туберкулезный процесс. А ведь Иосиф Федорович и в более спокойной обстановке не очень-то заботился о своем здоровье. К его услугам не было лучших врачей, хотя, наверное, он и обращался к врачам-большевикам, среди которых были такие крупные специалисты, как доктор Обух.

В начале 1906 года Иосиф Федорович по настоянию и стараниями товарищей оказался в небольшом финском санатории. Царские жандармы, полиция еще не осмеливались проводить аресты в Финляндии, и здесь, в «ближайшей эмиграции», находилось много активных участников революции.

Дубровинский мог немного отдохнуть и подлечиться, не заботясь о безопасности. Он уже и не помнил, когда ему приходилось отдыхать. Да полно, приходилось ли? Разве что на «романовских курортах»…

А здесь тишина. Здесь сосны и нетронутые сугробы. Яркое солнце. И замкнутые, но доброжелательные люди.

А он как солдат, только что выползший из пекла боя. Он рвется снова туда, где гремит битва. Но у него нет сил подняться. И тишина, покой утомляют больше, чем бессонные ночи и грохот баррикад.

Как трудно иногда биографу проникнуть в мир чувств и настроений своего героя! Герой их скрывал не только от потомков, но даже от людей, соприкасавшихся с ним ежедневно. Была ли это скромность или природная замкнутость, минутное настроение или длительная полоса вынужденного молчания – теперь остается только гадать. И вероятность разгадки столь же ничтожна, как ничтожно малы у нас сведения о жизни, думах и настроениях Иосифа Федоровича в дни, когда он сидел у окна санатория, не рискуя выйти на мороз. Или в недолгие часы прогулок среди озябших сосен.

Возможно, что он писал письма домой, даже наверное писал. И может быть, вспомнил договор, заключенный с Анной Адольфовной еще в Яранске: «Кто из нас будет иметь меньше значения для революции, тот возьмет на себя основную заботу о детях».

Основная выпала на долю Анны Адольфовны. Она сама признавалась, что семья старалась освободить Дубровинского от забот о себе. «Но его постоянно мучила мысль о том, что он не может в должной мере помогать нам. „Когда, дружище, ты станешь более справедливой, менее доброй, более злой?“ – спрашивал он меня в одном из писем».

Может быть, это письмо пришло из Финляндии?

…Недолго пробыл Иосиф Федорович среди сосен и в тишине – меньше месяца. Наверное, к нему приезжали товарищи из

Питера. Не забывали и те, кто временно удалился в Финляндию, заметая следы.

Они рассказывали о незатихающей революционной борьбе, о том, что перед партией сейчас встал вопрос об объединении всех сил пролетариата. И не кто иной, как Ленин, потребовал созыва нового, IV съезда. Объединение с меньшевиками? Да. Но Ленин, выступая за объединение РСДРП, ставил условие – сохранение идейной и организационной самостоятельности большевиков.

Большевики должны прийти на съезд со своей платформой, чтобы не смазывались принципиальные разногласия. Ленин говорил о боевом соглашении с Другими революционными партиями, но и требовал решительного разоблачения их псевдосоциалистического существа.

Мог ли Иосиф Федорович долго высидеть в санатории? Конечно, нет. Уже в конце января он включился в подготовку IV Объединительного съезда РСДРП.

По заданию Петербургского комитета и лично Ленина Дубровинский объезжал заводы, фабрики, железнодорожные мастерские. Разъясняя позицию большевиков на предстоящем съезде, он выполнял привычную работу.

Дубровинский знал, как нужно разговаривать с рабочими. Он не умел просто отговорить заранее заготовленную речь, ответить на вопросы и, добившись нужной резолюции, спешить на следующее заседание. По давно укоренившейся привычке он обязательно входил во все мелочи партийной работы на заводе или фабрике. Делился своим богатейшим опытом партийного организатора.

И когда Иннокентий докладывал комитету о состоянии дел на конкретном предприятии, то поражал всех знанием таких деталей, таких мелочей, словно он сам вел эту работу.

Естественно, что Петербургский комитет очень широко использовал организаторский дар Дубровинского…

Но краток наезд Иосифа Федоровича в столицу.

И снова первопрестольная. Весна 1906 года обещала быть здесь бурной. Уже в первомайских забастовках участвовало только в Москве 60 тысяч рабочих. А ведь было еще и промышленное Подмосковье!

Теперь в Москве бастовали и текстильщики, и булочники, и портные. А за ними потянулись и металлисты.

В Московском комитете хорошо понимали, что эти отдельные стачки легко могут привести к всеобщей забастовке. А, как показывал опыт, всеобщая забастовка неизбежно завершится решительным политическим столкновением. Иными словами, восстанием. Но к такому столкновению не подготовлены ни

рабочие, ни тем более другие слои населения, без участия которых невозможно победоносное восстание пролетариата.

Необходимо было усилить работу в легальных организациях и прежде всего в профсоюзах.

Профессиональные союзы в Москве возникали один за другим, несмотря на репрессии. Уже к лету 1906 года их насчитывалось 46, и они объединяли 48 тысяч человек. Московские большевики резко выступили против меньшевистской теории «нейтральности» профсоюзов. Раз уж партия взяла на себя руководство всеми проявлениями классовой борьбы, она должна руководить и профессиональной борьбой пролетариата.

При Московском комитете была организована специальная группа партийных работников и представителей правления каждого профсоюза. Эта группа и осуществляла партийное руководство профсоюзами.

Дубровинский очень скоро включился в эту работу. Именно тогда он сблизился с В. П. Ногиным, Д. Курским, Г. Лунцем.

Вместе с Курским Иосиф Федорович участвует в организации новых профессиональных союзов, помогает Ногину в его нелегкой работе по руководству областным бюро профсоюзов.

Но это действительно было беспокойное лето. Вскоре Дубровинский опять распрощался с Москвой.

В Свеаборге, на кораблях Балтийского флота, в Кронштадте готовилось новое восстание моряков. Готовилось большевиками. Но так же, как и в октябре 1905 года, оно вспыхнуло внезапно, задолго до намеченных сроков. И в этом были повинны подстрекатели – эсеры.

Неизвестно, когда Дубровинский приехал в Петербург. Но бесспорно, что в середине июля он уже был там и вошел в городской Комитет петербургской военной организации.

На Ямской улице, в доме № 21, в не очень-то уютной квартире сестер Веры и Людмилы Менжинских, Иосиф Федорович не однажды встречался с Лениным, Крупской, Вячеславом Рудольфовичем Менжинским, тоже членом «военки» и притом еще и членом редакции газеты «Казарма».

Иосифу Федоровичу пришлось еще раз припомнить подробности прошлогоднего выступления матросов. Его опыт мог очень пригодиться военной организации большевиков.

20 июля рано-рано утром из Кронштадта пришло известие, что этой ночью в крепости началось восстание. И так же, как в Свеаборге, преждевременно. В Свеаборге еще шли бои, но было ясно – там восстание обречено. Руководители «военки» узнали, что Кронштадтская партийная организация буквально накануне восстания была ослаблена арестами.

Днем Иосиф Федорович, Ф. Гусаров, А. Малоземов были в Кронштадте. Но их приезд уже ничего не мог изменить. Моряки сражались отчаянно. Но к вечеру того же 20 июля они были разгромлены. Гусарова и Малоземова схватили. Арестовали Мануильского и Егора Канопула – членов военной организации Петербургского комитета и руководителей восстания.

Дубровинскому и на сей раз удалось избегнуть ареста. Он возвращался в Петербург один. И можно представить, с каким настроением, с каким смятением в душе. Ведь его товарищам Гусарову и Малоземову, Мануильскому и Канопулу грозила смерть. (Канопул был расстрелян, Гусаров и Малоземов отправлены на каторгу, Мануильский выслан на поселение.)

В Петербурге его ожидал новый удар. Оказывается, вечером 19 июля, когда в квартире сестер Менжинских он, как обычно, должен был встретиться с Лениным, Крупской и другими членами большевистского центра, чтобы обсудить все вопросы, связанные с восстанием моряков в Свеаборге, на другой квартире, члена Военного комитета А. Харика, были арестованы Менжинский, Браудо, Фрумкин, то есть почти вся новая редакция газеты «Казарма».

Только благодаря находчивости Вячеслава Рудольфовича, назвавшегося чужим именем Деканского, полиция не сразу произвела налет на его квартиру и на квартиру его сестер. Это спасло от ареста Ленина, Крупскую, Иннокентия и других членов большевистского центра.

Да, охранка за эти годы революции тоже кое-чему научилась. Ее удары стали слишком часто попадать в цель.

Все лето и осень 1906 года Иосиф Федорович курсирует между Петербургом и Москвой. Выезжает он и в другие города Центрального промышленного района, подготавливая I областную конференцию этого района. Она должна восстановить Московскую областную организацию РСДРП, объединить более 14 тысяч членов партии.

Владимир Ильич хотел присутствовать на конференции, но из-за слежки не приехал.

Дубровинский активно участвует в ее работе, выступает с докладами, в прениях, редактирует резолюции…

Возможно, что в это беспокойное лето Иосиф Федорович и заезжал домой в Орел. Его тревожила болезнь матери. Но он не мог подолгу задерживаться около больной…

Любовь Леонтьевна умерла. И ему не пришлось присутствовать даже на ее похоронах. Это был тяжелый удар для Дубровинского. Он очень любил мать. Всегда считался с ее мнением. И был вечно благодарен ей и за помощь в трудную

минуту, и за ласковое слово, и за любовь, которой она окружила его семью.

Российские контрасты иногда бывают поразительны. Полчаса езды от Петербурга в сторону Выборга – все напоминает о том, что на дворе февраль года не 1905-го, а 1907-го. В вагоне поезда мало штатских и полно кокард. Чины полиции, жандармы ведут себя развязно, не то что в пятом. Громко гогочут, развалясь на полках, гремят шашками, бренчат шпорами. Шинели нараспашку, на мундирах у многих офицеров соцветия новеньких, еще не успевших пожухнуть орденов. Жандармы самодовольно поглядывают на них, крутят усы: «Де, мол, знай наших! И на нас пролился дождь царских милостей, не то что прежде! Ныне голубое в моде». Штатские жмутся по углам, молча уступают места, в глаза не смотрят.

В Белоострове полки пустеют. Поезд стоит долго. Из вагона в вагон следуют жандармы пограничной стражи. У них наметанный глаз. Принюхиваются к мастеровым – что им понадобилось в Финляндии? Студентов бесцеремонно высаживают. Почтительно прикладывают два пальца к каске, завидев примелькавшуюся дорогую шубу на лисьем меху. Подозрительно долго, в упор, разглядывают штрюцких «интеллигентского покроя» и особенно тех, кто с бородками и большими залысинами. Кого-то «препровождают».

Поезд трогается. Картина меняется. Финляндия, а вернее – Великое княжество Финляндское. Еще недавно среди ученых-юристов шли споры: а что из себя по своему политическому облику представляет это Великое княжество? То ли оно автономное государство, пользующееся внутренней самостоятельностью, то ли провинция Российской империи. То ли черт знает что! Во всяком случае, в эти революционные годы жителям Великого княжества очень хотелось бы все-таки выяснить: а есть ли финляндская конституция?

Это пока еще вопрос теоретический, но как повеселели пассажиры! Они поудобнее устраиваются на полках, лезут в баулы, выкладывают всевозможную снедь, улыбаются и даже не прочь пуститься в долгие дорожные беседы.

Виктор Павлович Ногин и Дубровинский понимающе переглянулись. Иосиф Федорович только что перебрался в вагон к Ногину. Ну конечно же, жандармы более всего интересовались бородкой Ногина и пенсне. Два таких криминала на одной физиономии! Дубровинский может похвастаться лишь одним – начинающей лысеть со лба головой. Но и эту «уличающую примету» нетрудно скрыть под шапкой.

Вскоре явился и Михаил Николаевич Покровский. Хмурый

жандарм к нему придирался, и он не понимает, что развеселило его спутников? Слава богу, проскочили, а ведь как жандармы вились вокруг! Московский приват-доцент никак не привыкнет к «всевидящему оку». А уж кому-кому, а старому революционеру пора бы научиться на, «всевидящие» надевать шоры.

Еще полчаса – и Куоккала.

Дачный поселок на берегу Финского залива. Уютный. Дорогой. Раскинулся в заснеженном сосновом лесу, на высоком холме. А внизу замерзший залив и вольница для ветров. Здесь, у кромки льда, вечно метет колючая поземка и тоскливо, тревожно шумят сосны.

Где-то здесь снимает дачу «лощеный инженер» Красин. Дубровинский давно не видел Никитича и рад предстоящей встрече.

Тут рядом и репинские «Пенаты». К художнику они заходить не будут – слишком много там толчется народа, да и времени в обрез.

Если все благополучно, то уже сегодня представители Москвы, Петербурга, Центрального района, а также и редакции «Пролетария» смогут встретиться на «Вазе».

Неказистый домик с мезонином башенкой, веранда. Она пустует зимой, и только разноцветные стекла весело щурятся вслед угасающему солнцу, напоминая о тепле, лете и цветах. О цветах напоминает и что-то вроде большой вазы перед верандой. А может быть, маленького фонтанчика на высоком постаменте – не разобрать, все занесло снегом.

Когда входили в воротца, Ногин показал на деревянный барельеф вазы. Это было единственное украшение, которым отметил свою дачу хозяин-швед. Хорошо протоптанная тропинка в снегу. Еще бы, дача эта никогда не пустует. Ее снял у шведа большевик-врач Гавриил Давидович Лейтейзеп-Линдов. Низ заняли Ульяновы, наверху разместились Александр Богданов и еще несколько товарищей. Оставаться в Питере больше было невозможно. Шпики обложили Ленина со всех сторон.

Покровский остановился у ворот, близоруко вгляделся в барельеф.

– Но позвольте, Ильичи живут под королевским гербом?

В этот момент ни Дубровинский, ни Ногин не были склонны заниматься династической геральдикой. Им предстояла встреча с Лениным. Но в Покровском заговорил дух историка. Он определенно уверен, что хозяин дачи, швед, назвал свое владение «Вазой» в честь шведской королевской династии Вазов.

Может быть… Иосиф Федорович не слушал приват-доцента. Они с Ногиным уже ввалились в узенький коридорчик,

отделявший комнаты. У Ногина сразу запотели стекла пенсне, и он беспомощно тыкался, держа пальто в руках и стараясь пристроить его куда-либо на вешалку. Но вешать было некуда, и вышедшая из комнаты Крупская указала на стул.

Все уже собрались в просторном кабинете Ильича. Дубровинский огляделся – железная кровать, небольшой стол, два стула, а по стенам стоят садовые скамейки. Их, видимо, внесли недавно, оттаивая, они подтекают лужицами у ножек.

Три дня совещались большевики, готовясь к V съезду. Нужно было заранее сформулировать, обсудить и уточнить резолюции по всей повестке дня заседаний съезда. Проекты резолюций предлагал Ленин. Четкие, ясные, точные формулировки Ильича приводили в восторг Дубровинского. Ему тоже приходилось не раз писать резолюции. Но никогда не удавалось их так великолепно сформулировать. Дубровинский чувствовал себя гораздо лучше на трибуне. И ему было неважно, стоит ли он за кафедрой в университете или на ящике в цехе, на площади или, на худой конец, на придорожной тумбе под открытым небом.

Он не был литератором, но и оратором, во всяком случае блестящим, его нельзя было назвать. Но именно на людях, в живом общении с ними, он находил нужные слова, интонации, движения. Это было творчество трибуна, умевшего моментально зажигаться и знавшего, что умеет зажечь, повести за собой.

Ленин вел за собой иным – мыслями, неопровержимой логикой правоты, умением охватить все и сразу выделить главное.

…И когда вдруг раздался чей-то скрипучий, скучный голос, Дубровинский словно с разбегу стукнулся о глухую стену. А голос скрипел, голос пророчествовал – «революция кончилась, и нечего ожидать нового подъема, оживления работы. А потому и все эти блестящие резолюции нежизненны». Дубровинский так и не разглядел, кому принадлежал голос.

Ленин не успел ответить. Все заговорили разом. И больше всех горячился Ногин. Он так отчитывал маловера, что только пух летел. Ленин был доволен – можно и продолжать. Но Виктор Павлович увлекся. И конечно же, заговорил о профсоюзах. Это его любимая и больная тема. Ведь IV съезд РСДРП как-то очень уж невнятно высказался о работе в профсоюзах. С одной стороны, меньшевики за нейтральность профсоюзов, их беспартийность впредь и на будущее, а с другой – они прибирают их к своим рукам. Этого никак нельзя допустить.

Дубровинский *уже* давно приобщен к профсоюзной вере, и Ногин считает это своей заслугой. Виктор Павлович уверен, что такое приобретение – большой залог успеха.

Иосиф Федорович поддержал Ногина. Да, профсоюзы необходимо подчинить идейному руководству большевиков и резолюцию в этом духе тоже необходимо принять на съезде.

Ленин согласен, но он напоминает москвичам, что уже имеется пункт, согласно которому члены партии должны входить в профсоюзы, связывать их с партией. Ногин и Дубровинский настаивают на более точной резолюции.

Договорились на том, что Виктор Павлович подготовит проект.

Прощались тепло и ненадолго. Ленин рассчитывал увидеть обоих в Копенгагене в апреле.

Когда-то Желябов, прощаясь с Александром Михайловым, пошутил: «Не говорите „до скорой встречи“, не произносите „до свидания“, лучше скажите: „счастливо“ или „всего вам доброго“».

Это была грустная шутка. И она прозвучала буквально накануне ареста Михайлова.

Да, скорая встреча не состоялась. И в Копенгагене Дубровинский так и не побывал.

Вернувшись из Куоккалы в Москву, он вновь окунулся в работу по подготовке V съезда партии.

Московская партийная организация избрала Иосифа Федоровича одним из своих делегатов на съезд.

11 марта 1907 года Дубровинский проводил районное собрание в Замоскворечье.

И вместе с еще более чем сотней участников этого собрания очутился в тюрьме, в Лефортовской полицейской части.

Март! Для легочных больных, для чахоточных этот первый весенний месяц очень часто оборачивается последней в жизни весной.

А если прибавить к весенним дуновениям спертый воздух битком набитых камер, вонь и тюремную похлебку…

Если вспомнить, что едва минул год с того времени, когда, обессиленный болезнью, этот сильный, мужественный человек вынужден был согласиться на пребывание в санатории, так как туберкулез уже истачивал легкие.

Если вспомнить, что он не долечился, да и не отдохнул тогда как следует, а сразу ринулся в самую гущу событий – стачек, митингов, восстаний, то новое заключение могло кончиться тюремной больницей. А в них не лечили. И особенно чахоточных.

Виктор Павлович Ногин, Михаил Николаевич Покровский, Анна Адольфовна подняли на ноги Московский комитет. Иннокентий не может оставаться в тюрьме. Он уже не встает с нар. И с каждым днем ему все хуже и хуже.

Московский комитет решил: Дубровинский и Анна

Адольфовна должны подать прошение на имя министра внутренних дел.

Они должны настаивать на том, чтобы взамен любого наказания Дубровинского выслали из пределов России.

Конечно, все это должно аргументироваться состоянием здоровья. Иосиф Федорович обязан найти силы и обратиться официально к тюремному врачу за справкой. Пусть его освидетельствуют.

Иного выхода тогда не было.

Конечно, отвратительно снова писать «ваше высокопревосходительство… покорнейше прошу…». И это после 1905 года, после Пресни…

Ничего, он не должен сейчас расстраиваться по таким пустякам. Товарищи считают, что Иннокентий им очень нужен. А это лучшее лекарство.

И он написал. Он обратился к врачу.

Дубровинский не тешил себя напрасными иллюзиями. И менее всего верил в гуманность палачей. Сколько безвестных могил разбросано по Руси, могил, оставшихся последней скрижалью тем, кто был «гуманно» умерщвлен царскими опричниками! Вспомнился Ванеев. Он не был с ним знаком, о нем рассказывал Ильич. Енисейская ссылка доконала этого чудесного человека. И стража милостиво дала ему умереть «на руках» товарищей. А Леонид Радин?.. Не стоит перечислять…

Прошение написано. И он его пошлет. Это приказ Московского комитета, а он привык подчиняться партийной дисциплине.

И конечно, Анна немедля поддержит его ходатайство. Но прежде всего, что скажет доктор Савицкий? Ведь он как-никак тюремный врач. И наверное, проводил в мир иной не один десяток таких вот, как Инок, чахоточных. Ему ль привыкать?

Да и министры внутренних дел отнюдь не милосердные сестры. Об охранке и говорить нечего. Если уж что и поможет, так это отголоски былого страха у царских чиновников. Они еще не верят в свою победу, хотя уже и затопили Россию рабочей кровью. Конечно, департамент полиции хорошо знает, кто такой Иосиф Дубровинский. Его «Дело» пухнет год от года. Но с оружием в руках он, слава богу, не попался, «анархизм» ему не пришьешь. Значит, нельзя с ним расправиться по законам карателей. Нужно судить. А это волокитно, тем более что жандармские следователи прекрасно усвоили его манеру разговора с ними. Разговор простой – молчание.

Сгноить в Лефортовском полицейском доме? Не дадут. Охранка понимает – за Дубровинским стоит армия рабочих-

партийцев. За его судьбой следят.

А ведь революция еще продолжается, и кто знает!..

Слабая, конечно, надежда. Но все же, может быть, правительство и пойдет на то, чтобы удалить из страны такого опасного, неисправимого смутьяна.

И приговор ему поспешили вынести – ссылка в Вологодскую губернию. Но ведь полицейские и сами не верят, что Дубровинский задержится там надолго. Сбежит!..

Большевики наловчились бегать. Ловят немногих, большинство благополучно уходит за границу или в подполье.

Иосиф Федорович не считал дней. Ему показалось, что минула неделя, а может быть, и полмесяца с того момента, как доктор Савицкий освидетельствовал его в приемном покое той же Лефортовской части.

И вот, наконец, заключение:

> «Осмотр № 336
>
> 1907 года, апреля 3-го дня, вследствие отношения господина смотрителя Лефортовского полицейского дома от 3 апреля за № 875, в приемном покое Лефортовской части свидетельствовал я состояние здоровья мещанина Иосифа Дубровинского, содержащегося в камерах для арестованных при Лефортовском полицейском доме, причем оказалось: Дубровинский, 29 лет от роду, малокровный, среднего телосложения, слабого питания, жалуется на кашель, боли в груди и на лихорадочное состояние. По словам Дубровинского, он около шести лет страдает кашлем, который по временам осложняется кровохарканьем. При осмотре в 10 часов утра температура тела несколько повышена (37,7); пульс слабого наполнения, учащен, 120 ударов в минуту. В верхних долях легких замечаются рассеянные сухие и влажные хрипы. На основании исследования следует полагать, что Дубровинский страдает катаром легочных верхушек. Продолжительное содержание Дубровинского под стражею при неблагоприятной гигиенической обстановке может обострить легочный процесс, которым он страдает.
>
> Врач Лефортовской части *Савицкий».*

Дубровинскому не нужно было притворяться больным, он был болен. Очень болен. Заключение тюремного врача скорее смазывало действительную картину его заболевания, нежели что-то преувеличивало. Савицкий прямо не настаивал на изменении условий «содержания под стражей», он констатировал только –

процесс в легких может обостриться. Остальное на усмотрение начальства.

Дубровинский еще раз перечитал заключение, приложил его к прошению на имя министра внутренних дел и… горько улыбнулся. Ведь он обрадовался этой справке! Как печально звучит старая истина, что нет худа без добра. Он не обманывал себя, знал, что если даже ему и на сей раз удастся вырваться на волю, то это не поможет его здоровью. Но не о нем он беспокоился. И не кашель, и боли в груди, и кровяные пятна на платке будут заботить его там, за стенами тюрьмы.

Прошение пошло по инстанциям. Дубровинский заставлял себя не думать о нем, не возлагать на эту бумажку особых надежд.

Опять потянулись унылые тюремные дни. И снова утром он заходился в кашле, а потом мучительно долго не мог отдышаться, не мог найти сил, чтобы встать с нар.

Приближалась середина апреля. В иные годы апрель в Москве бывает даже жаркий, но в том году и можайский лед прошел, а небо бороздят серые, не по-весеннему низкие облака. И землю исхлестывают злые, холодные дожди. По стенам камеры, особенно в углах, расползается плесень. Дубровинский часами сидит на табуретке, упершись руками в колено, – так немного легче втягивать в себя воздух.

И снова гулкий кашель. Потом долгие хрипы.

16 апреля, наконец, появилось солнце. В окно камеры оно не заглянуло, но даже его отраженный свет обещал тепло и напоминал о зелени. В этот день Иосиф Федорович почувствовал себя бодрее. Он почти не кашлял, и даже захотелось поесть.

Конечно, полицейские харчи не могли возбудить аппетита, но Дубровинский все же съел кусок полусырого хлеба и выпил кружку кипятка. За эти недели отсидки, приступов, упадка сил он почти ничего не читал. Рука потянулась за книжкой. Но не читалось.

Наверное, после обеда предложат прогулку. Сегодня он пойдет и во дворе полицейской части встретится с солнцем.

– Выходи!..

Это могло означать что угодно. И даже этап, ведь он назначен в вологодскую ссылку.

Но его вызвали без вещей…

В тюремной канцелярии вручили бумагу.

«Осип Федоров Дубровинский, обвиняемый в прикосновенности к деятельности революционных организаций, подлежит высылке в один из северных уездов Вологодской губернии под гласный надзор полиции на три года…»

Дальше можно не читать. Все же как хорошо, что он не связывал с этим прошением министру никаких надежд.

А Вологодская губерния… не привыкать. Если дойдет, то непременно убежит.

Но нужно расписаться. Иосиф Федорович взял ручку… и дочитал:

«…считая срок с 16 апреля 1907 года, но вместо высылки разрешить Дубровинскому выехать за границу, с тем что, в случае возвращения его в пределы России ранее 14 апреля 1910 года, настоящее о нем постановление в первой его части будет подлежать исполнению».

Можно только гадать, какими мотивами руководствовались департамент полиции и министр внутренних дел, разрешая Дубровинскому выезд за границу. Арестовав его 11 марта, жандармы тем самым предупредили поездку Дубровинского на V съезд РСДРП. А ведь 16 апреля съезд еще не начинал своей работы. И жандармы хорошо понимали, что Дубровинского на съезде примут и без мандата. И без бумажки – делегат. А в результате ему просто облегчалась поездка на съезд. Ведь Иосифу Федоровичу не придется нелегально переходить границу, как это делали остальные делегаты из России.

Дубровинский теперь уже не мог дождаться того дня, когда вновь откроется дверь и на сей раз ему скажут: «Выходи! С вещами!..»

Съезд не задержался в Копенгагене. И снова делегатам пришлось путешествовать, да еще с приключениями, в Лондон.

В Лондон спешил и Дубровинский. Кратчайшим путем. Не заезжая домой. Только бы успеть.

Качало в Ла-Манше. Укачало и в поезде. И Лондон встретил так, как он встречал всякого, кто впервой вступал на его панели. Туман и копоть, суета вокзала и Сити. А невдалеке, в районе Вестминстер, неторопливая чопорность прохожих и старомодные экипажи, знакомые по России трамваи и непривычное множество чадящих автомобилей.

Но Дубровинский торопился. Ему некогда разглядывать британскую столицу.

Он потерял слишком много времени. Потерял? Нет, он-то не потерял ни часу. Но департамент полиции не спешил с выдворением за рубеж нежелательного элемента. Пока оформляли документы!..

Иосиф Федорович попал па последнее заседание V съезда РСДРП, буквально в Последний день. И был тепло встречен Лениным, делегатами.

И как высшая награда, как величайшее доверие – он избран

членом ЦК.

В Центральный Комитет вошли не только большевики. Там оказались и меньшевики и представители национальных социал-демократических организаций, которые были неустойчивы, часто колебались. Правда, сторонники Ленина имели в ЦК большинство.

И все же состав ЦК не обнадеживал. И это понимал Ленин. Поэтому еще в ходе съезда большевики на специальном совещании создали свой большевистский центр. И Иосиф Федорович также был введен в этот руководящий орган.

Несколько дней в Лондоне – как мираж, как сон. И не столица Британской империи тому виной.

Ведь Дубровинский впервой на съезде. Этот – пятый. А ведь он по праву мог бы участвовать в работе четырех. И не участвовал. Сидел в тюрьмах, отбывал ссылки. Одно дело читать протоколы съездов, резолюции, а другое – хотя бы один-единственный день провести в атмосфере заседаний.

В последний день уже поставлены все точки. Уяснены все позиции, но еще продолжает действовать инерция прошлых дней. Еще не угас полемический задор, и потому так ясно видно, кто чем дышит.

В эти дни отступили куда-то на задний план тревожные думы. А ведь еще несколько недель назад он был в их власти.

Глава IX

К тому времени, когда V съезд завершил свою работу, уже не за горами был «последний день» первой русской революции. «Последним» называют 3 июня 1907 года. Условно, конечно. 3 июня 1907 года высочайшим указом была разогнана II Государственная дума и был издан новый избирательный закон. К разгону Думы можно было бы отнестись и спокойно. Ведь первую тоже разогнали. Но издание основного избирательного закона без санкции Думы означало, что царизм разорвал манифест 17 октября 1905 года. Ведь по этому манифесту ни один закон не имел силы без утверждения его Думой. В условиях России манифест 17 октября играл роль какой-никакой, а конституции. Когда же в государстве рвут конституцию – это означает уже государственный переворот.

И 3 июня 1907 года вошло в историю как день «3-июньского государственного переворота».

Он свершился в то время, когда реакция уже более года наступала широким фронтом. Она снова справляла тризну.

И снова маловерам казалось, что «вихрь покрутился и все осталось по-прежнему», что жизнь – это темный коридор, из которого нет выхода. И никогда, никогда эту тьму уже не прорежет луч солнца. Только кривляются какие-то рожи, хрипло выкрикивая: «Да скроется солнце, да здравствует тьма», – и из царского дворца несется гнусавый припев: «Боже, царя храни». И охраняемый богом помазанник принимает из рук главарей черносотенных банд титул почетного члена партии «Союза русского народа».

Бог охраняет бандитов, убийц, вешателей.

По империи рыщут каратели. С Дальнего Востока на запад идет Ренненкампф, оставляя сожженные села, безвестные могильные холмы. С запада на восток движется Меллер-Закомельский, отмечая дорогу качающимися на фонарях трупами в рабочих блузах.

За людьми охотятся среди белого дня. Для них нет убежищ, нет законов, нет права на суд, на защиту, «не говоря уже о неприкосновенности личности».

Заседают только военно-полевые суды, и только для того, чтобы расстреливать. В Москве расстреляли 2 тысячи, и еще алчут крови «усмирители восстания».

На Кавказе день и ночь работают кинжалы. «Союзу русского народа» удалось стравить «инородцев» в дикой резне. «Союз» довольно потирает руки. Пусть себе режут друг друга: чем больше

крови, тем меньше сил.

Новый министр внутренних дел Столыпин тоже хочет крови. Над левыми скамьями Государственной думы обвалился потолок. Обвал подготовил Столыпин, и теперь он негодует, что по чьей-то оплошности обвал произошел минутой раньше, чем депутаты вошли в зал.

В ответ на выкрики возмущенных левых, что он кровавый убийца, министр, нагло улыбаясь, сравнивает себя с врачом и под восторженный визг черносотенцев заявляет, что он делает «врачующее кровопускание».

5 тысяч казненных по официальным данным и 7,5 тысячи по данным прессы.

30 тысяч умерших в тюрьмах от голода, пыток, болезней.

Это было «врачующее кровопускание».

Его рецепт капиталист Рябушинский сформулировал так: «Пролетарии должны быть рабами. Если кто мятежничает – убивать. Крестьяне жгут усадьбы? Перестреляйте тех, которые нападают, и сожгите десять усадеб кругом, и мужики поймут, что у вас есть право на землю».

Столыпин наступал на крестьянскую общину. Разгромить ее, расслоить, отделить кулака от революционно настроенного бедняка, отдать земли беднейших кулаку, сделать сельского буржуа твердой опорой царизма в деревне.

А бедняков – в Сибирь, на Дальний Восток по принципу: «дальше едешь, тише будешь».

Тех же, кто сопротивляется, кто не смирился, – тех в тюрьмы, на каторгу.

А какая неразбериха, смута царили в умах российской интеллигенции! И эта смута была побочным продуктом политической реакции.

Расправились кукиши в карманах. И бывшие попутчики, левацкие крикуны, «народные радетели» отплевывались, отмежевывались, открещивались от «революционного наваждения».

Они теперь «не могли понять», не знали, «как это могло случиться…». И вообще, с каких это пор истинный русский интеллигент занимается политикой… Куда лучше осетрина под хренком…

Крутились и трещали столики. И в спиритическом угаре нетленные духи императоров назидательно поучали, что безбожие, умственный разврат и отступничество от истинно русских начал – православия, самодержавия и народности – породили «безумные мечтания», «ложные надежды» и «преступные содеяния».

Но в этом хоре ренегатства громче всех, противнее всех и подлее всех вопили вчерашние «легальные марксисты» – булгаковы и струве, бердяевы и их философствующие подпевалы вроде Гиппиус.

Ольминский – «Галерка», – замечательный большевистский публицист, припечатал к позорному столбу и это время и эту публику: «Место политики заняла якобы эстетика, а на самом деле – интерес только к самому глубокому разврату… Воистину печально время, чьим духовным знаменем стал роман Арцыбашева „Санин“».

Были и другие хоругви.

Если буржуазные ренегаты несколько позже со страниц сборника «Вехи» вылили поток помоев на демократию, то доморощенные философы вроде Розанова, Минского, Философова уже потели над ликом нового боженьки. Эти новоявленные богомазы пытались перемалевать старых святых. А старые были живучи.

Но как бы густо они ни клали мазки, выводя нимб «нового бога» и ангелов «новой религии», древние иконы с их «смирением» и «непротивлением» не уступали своего места на иконостасе существующих порядков.

И что обиднее всего – в среде социал-демократов появились партийные «богостроители». Они не призывали к исповеди и не обожествляли «Троицу». И любили цитировать Белинского насчет горшков и икон, которыми их прикрывают.

Но богостроители социализм провозгласили религией. А ведь религия зиждется на слепой, безрассудной вере в бога.

Социализм и Бог. С большой буквы при этом!

Это была попытка примирить социализм с религией. Но вместо ангелов старых икон в росписи богостроителей порхали бессмысленные, красивые, лживые и вредные словеса.

Когда-то, в годы примиренчества, Анатолий Васильевич Луначарский взял на себя «обязанность быть главным пером соглашательского ЦК». А теперь он глаза богостроителей.

Даже Плеханов, привыкший улаживать «семейные конфликты» домашними средствами, заявил, что Луначарский устраивает на свой фасон «утешительную душегрейку». И не для рабочих, конечно!

Для самгиных. Для русской интеллигенции.

Но была и худшая опасность для партии пролетариата. Ведь в РСДРП наряду с большевиками состояли и меньшевики. А они-то в условиях реакции поддались панике, не отступали, чтобы отдохнуть от боя, реорганизовать силы, перевооружиться, а просто панически бежали.

Меньшевики готовы были поднять руки перед столыпинским режимом, они втайне мечтали приспособиться к нему, ужиться. А большевики мешали. Чтобы отделаться от большевиков, меньшевики завопили, что не нужна нелегальная партия, что не нужно подполье – этот «допотопный» вид организации.

Ликвидировать нелегальную партию – заявили эти трусы и предатели.

Ленину, большевикам для того, чтобы идти вперед, нужно было ликвидировать ликвидаторство.

А это было нелегко. И потому нелегко, что и в среде большевиков нашлись скрытые ликвидаторы, «ликвидаторы наизнанку». Их называли отзовистами.

Отзовисты били себя в грудь и кричали о своей революционности. Они считали, что социал-демократы революционеры не могут сидеть в одном зале вместе с кадетами, октябристами и монархистами. Они обязаны уйти из Государственной думы. Отозвать социал-демократическую фракцию из Думы, покончить с легальными формами борьбы – вот чего требовали Алексинский, Вольский и иже с ними.

Отказ от легальных форм борьбы, от легальных связей с массами практически означал также ликвидацию партии пролетариата.

Отзовизм имел оттенки. Были и «стыдливые отзовисты». Их иначе величали «ультиматистами». Они прямо не настаивали на том, чтобы социал-демократическая фракция покинула Таврический дворец, в котором заседала III Дума. Но если эта фракция не будет подчиняться всем партийным директивам? Тогда отозвать!

Возглавлял «ультиматистов» Богданов. С ним вместе оказался и Красин.

Луначарский, который в это время грешил и богостроительством и отзовизмом, позже, одумавшись, писал:

«Все эти группы ультиматистов, отзовистов и т. д., за которыми, собственно говоря, скрывалось нежелание считаться с длительным периодом реакции, романтическая вера в то, что не сегодня-завтра опять подымется мятеж, – все это было головное, выдуманное, все это было от прошлого, все это не учитывало живой действительности».

Иногда и «мыльные короли» помогают революционерам. Если бы не мистер Фелс, крупный английский мыловар, то еще неизвестно, как бы делегаты V съезда выбрались из Лондона. На счету у съезда ни шиллинга. Иосиф Фелс готов дать в долг 1700 фунтов – целое богатство. Но Фелс был чудаковат. Прежде чем подписать чек, он явился на заседание съезда в

«социалистическую церковь» на Саутгейт-Роод. И три часа отсидел на хорах, приглядываясь, принюхиваясь: а вдруг это антихристы какие…

Но когда в перерыве к нему поднялся Плеханов, мыловар успокоился. «Тамбовский дворянин» производил впечатление.

Делегаты разъезжались кто куда – в Москву, Питер, на Урал.

Иосифу Федоровичу ехать было некуда. Путь в Россию для него закрыт. Во всяком случае, легально он не имеет права там появляться до 14 апреля 1910 года.

Три года в разлуке с дочками. Три года оторванный от привычных дел. Невесело!..

Владимир Ильич уезжал в Финляндию, в Стирсудден, на дачу к Лидии Михайловне Книпович. Туда же, поближе к России, на дачу старого друга и наперсника, приехал и Дубровинский.

Здесь он мог, наконец, хоть немного передохнуть. Здесь был Ленин, с которым никогда не наговоришься и который, оказывается, умеет прекрасно ухаживать за цветами. А дача Лидии Михайловны утопает в цветах.

Но увяли цветы. И с севера все чаще и чаще задувают холодные ветры.

Финляндия поздней осенью – унылая, неприветливая страна. Департамент полиции, охранка дотянулись и до финляндских дач, городов, поселков.

Владимир Ильич вынужден из «ближайшей эмиграции» уехать в дальнюю, в Женеву.

И Дубровинскому полиция не дает задержаться под боком у России. Финляндия – часть Российской империи, а ведь Иосифу Федоровичу «воспрещено» в ней показываться.

Пришлось уезжать. И тоже в Женеву, туда, где Ильич.

В эмиграцию Иосиф Федорович уезжал впервой. Финляндия не в счет, ведь она рядом с Россией. Уезжал, не ведая, чем он будет заниматься там, в незнакомой Женеве. Не знал он и на какие средства будет жить.

С деньгами у большевиков вообще было плохо. Партийная касса могла выдавать самые мизерные суммы, да и то нерегулярно. Конечно, были еще и переводы. Но это так, спорадически. Дубровинскому не привыкать жить впроголодь, жить где-нибудь и как-нибудь, лишь бы подушка была под головой. Но в Женеве и ее могло не оказаться.

Страшно было думать о семье, оставшейся на родине. Как они будут жить? Ведь он ничем не может помочь Анне Адольфовне.

Если до 1905 года женевские, берлинские, парижские колонии эмигрантов жили в ожидании революции, верили в ее

скорый приход, победу и близкое возвращение домой, то теперь было ясно, что новая и победоносная революция произойдет не через год и но через два – нужно свыкаться с положением эмигранта, как-то устраиваться.

Дубровинский хорошо знал свои возможности как партийного работника. Он организатор-практик, он оратор. Но ведь все эти качества в эмиграции могут пригодиться в очень незначительной степени.

Сейчас за границей развернется борьба с отзовистами, ликвидаторами, богоискателями, поборниками модных философских течений – эмпириокритиками, махистами. Но это будет борьба прежде всего теоретическая, полем битвы станут страницы газет и журналов, столкновения произойдут в кафе, клубах, на диспутах, рефератах.

И в эмиграции Дубровинский открылся товарищам с новой, незнакомой им стороны. Организатор-практик стал острым полемистом, оратор сделался усидчивым сотрудником газеты «Пролетарий» и показал себя вдумчивым, эрудированным философом.

Борьба на философском фронте в эти годы выдвинулась на передний план партийной работы. Новейшие открытия в естествознании ломали старые представления о материи.

Материя рушится, материя исчезает, гибнет сама наука о материи, о каком философском материализме может идти речь!

Так казалось не только некоторым «философам», но и крупным ученым-естествоиспытателям, когда они узнали об электроне, радиоактивности, превращениях химических элементов из одного в другой.

Последователи австрийского философа Маха, воспользовавшись наметившимся «кризисом естествознания», усилили нападки на диалектический материализм. Махизм был не чем иным, как утонченным, подновленным идеализмом.

Во главе русских философов «новой школы» стояли Луначарский, Богданов, Базаров. В России вышел их сборник «Очерки по философии марксизма». Это было искажение марксизма. И Ленин повел решительную борьбу с этими «философами», отстаивая чистоту марксистского мировоззрения. Плеханов тоже ополчился на них.

Дубровинский виделся с Плехановым. Ленину и Иосифу Федоровичу, как членам редакции «Пролетария», было очень важно знать, чью сторону возьмет Георгий Валентинович, когда в редакции разгорится борьба. Ведь Богданов тоже был членом редакции.

Плеханов встал на сторону Ленина. Но он боролся с

Богдановым вяло, неохотно. Его статьи были настолько мудрено написаны, что их могли понять только специалисты-философы. А ведь борьба с Богдановым, Луначарским была не просто теоретическим спором. Это была борьба за идейно-философские основы партии. К ней жадно прислушивались молодые члены РСДРП, не искушенные в философии.

И Ленин решил философски обобщить новейшие достижения естествознания, разоблачить до конца махистов, богдановцев отстоять марксистское мировоззрение.

Владимир Ильич и Дубровинского заразил своим философским энтузиазмом. В этот момент они были близки друг другу, как никогда. Эту близость подчеркивала Н. К. Крупская:

«…Их многое сближало. И тот и другой придавали громадное значение партии и считали, что необходима самая решительная борьба с ликвидаторами, толковавшими, что нелегальную партию надо ликвидировать, что она только мешает работать. И тот и другой чрезвычайно ценили Плеханова, были рады, что Плеханов не солидаризируется с ликвидаторами. И тот и другой считали, что Плеханов прав в области философии, и полагали, что в области философских вопросов надо решительно отгородиться от Богданова, что теперь такой момент, когда борьба на философском фронте приобрела особое значение. Ильич видел, что никто так хорошо с полуслова не понимает его, как Иннокентий. Иннокентий приходил к нам обедать, и они долго после обеда обдумывали планы работы, обсуждали создавшееся положение. По вечерам сходились в кафе „Ландольд“ и продолжали начатые разговоры. Ильич заражал Иннокентия своим „философским запоем“, как он выражался. Все это сближало. Ильич в то время сильно привязался к Иноку (Иннокентию)…»

Владимир Ильич выполнил свое намерение – написать капитальный труд по философии марксизма. Философский энтузиазм воплотился в кропотливую, напряженную работу. Это было действительно исследование, поиск. И когда Ильич убедился, что швейцарские библиотеки не располагают нужными книгами, уехал в Лондон, чтобы заниматься в библиотеке Британского национального музея.

Отъезд В. И. Ленина вызвал заметное оживление среди богостроителей, да и отзовистов тоже. Самоустранился их главный оппонент, и такой возможностью не могли не воспользоваться Богданов, Луначарский.

А что, если вновь выступить с рефератом? Кто будет против? Плеханов? Вряд ли он явится. Ленина нет. И Богданов решился. Подготовка к дискуссии проходила с помпой. Богданов был

уверен в торжестве своих сторонников.

О дискуссии Ленин узнал из писем Крупской и Иосифа Федоровича. И может быть, неожиданно для Дубровинского Владимир Ильич обратился к нему с предложением – выступить на реферате и… дать бой.

Владимир Ильич хорошо знал противника и не нуждался в тезисах реферата А. Богданова – «Приключения одной философской школы».

Богданов будет проповедовать эмпириомонизм – разновидность махизма, а значит, завуалированный, подчищенный, обставленный частоколом современных наукообразных терминов, чистейшей воды идеализм.

Чтобы Иосифу Федоровичу было легче выступать, чтобы он сразу же смог «прижать» докладчиков к стене, Ленин прислал ему своеобразный конспект. Это были одновременно и основные вопросы, на которые Иосиф Федорович должен был дать ответ с позиций марксистской философии, и «десять вопросов референту».

В это время в Женеве было немало эмигрантов-большевиков, людей, близких Ленину.

Но дать бой по философским вопросам Владимир Ильич попросил не кого-нибудь, а Дубровинского. Именно Иосиф Федорович «понимал с полуслова», именно у него был тот же «философский запой», который заставил Ильича уехать в Лондон. И Ленин – блестящий политик и тактик – точно рассчитал удар.

Дубровинского знали все члены партии. И большевики и меньшевики. Знали как практика, организатора, трибуна.

Его присутствие на реферате ни у кого не могло вызвать ни удивления, ни подозрения. Но вряд ли кто-либо из тех, кто слушал Богданова, Луначарского, ожидал, что их главным оппонентом станет Дубровинский.

«Десять вопросов референту»!

На эти десять полностью, точно, по-марксистски ответил сам Ильич в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Эти десять вопросов были чем-то вроде тезисного плана ленинской книги.

Владимир Ильич не навязывал Дубровинскому своих ответов. Иосиф Федорович, сообразуясь с обстановкой, с каким-то своим пониманием этих вопросов, волен был их сформулировать по-иному, отредактировать или вовсе снять. Дубровинский, готовясь к выступлению, действительно внес изменения во второй, третий и десятый вопросы, седьмой же зачеркнул.

Реферат состоялся 15 мая 1908 года в Женеве. По поручению Богданова реферат читал Луначарский.

Иосиф Федорович после выступления глашатаев новой

философской школы попросил слова. И хотя он представлен был собравшимся под псевдонимом Доров, многие узнали Дубровинского.

И были, конечно, поражены. С какой стати этот действительно незаурядный практик, организатор вдруг ввязался в теоретический спор, да еще поставил перед самим Богдановым вопросы:

«Признает ли референт, что философия марксизма есть *диалектический материализм?*

Если нет, то почему не разобрал он ни разу бесчисленных заявлений Энгельса об этом?

Если да, то зачем называют махисты свой „пересмотр“ диалектического материализма „философией марксизма“?».[6]

«Признает», «признает», «признает» – вопросы точные, с ссылками на Энгельса, вопросы, в которых содержится и критика. Вопросы, от ответа на которые нельзя увильнуть, нельзя отделаться туманным словоблудием.

Но Богданов именно так и отвечал. Иосиф Федорович снова взял слово. На сей раз он сам ответил на эти вопросы. Ответил в пространном докладе со множеством ссылок на источники. Недоумение аудитории сменилось удивлением, потом зал уже чутко прислушивался к точным, ясным формулировкам. Дубровинский заявил, что большевизм стоит на позиции диалектического материализма и решительно отмежевывается от богдановско-базаровских идеалистических схемок.

Завязался спор. Разгорелись страсти, и сторонники Богданова прибегли к демагогии.

И что знаменательно: к этому спору внимательно прислушивались агенты русской жандармерии. Кто-то из них, видимо, присутствовал на дискуссии, так как спустя некоторое время заведующий заграничной агентурой Гартинг отписал в департамент полиции:

«На днях в Женеве в группе большевиков произошел следующий скандал. На реферате Богданова, полемизировавшего с Плехановым, выступил „Иннокентий“, член Центрального Комитета и редакции „Пролетария“, и заявил от имени своего и Ленина, что большевизм ничего не имеет общего с философским направлением Богданова. В ответ на это Алексинский выругал „Иннокентия“, указав, что он будто бы не имел права делать такого заявления, и затем созвал большевистский кружок, принявший резолюцию, противную мнению „Иннокентия“, на сторону которого стал решительно Ленин, порвавший теперь сношения с Алексинским».

Владимир Ильич был очень доволен выступлением

Дубровинского. Что бы там ни говорил, ни делал этот бесноватый Алексинский, а победа на стороне тех, кто твердо стоит на позициях диалектического материализма.

И в этом вопросе Плеханов с ними, а это большая поддержка.

Но партия переживала трудное время. Отзовизм, ликвидаторство представляли не меньшую опасность, чем ревизия философских основ большевизма.

Крупская вспоминает о беседах Ленина с Дубровинский:

«…Иннокентий и Ильич немало толковали между собой по поводу необходимости сочетать партийное руководство (для чего необходимо было сохранить во что бы то ни стало нелегальный аппарат) с широкой работой в массах.

На очереди стояла подготовка партийной конференции, на почве выборов на нее надо было вести широкую агитацию против ликвидаторства и справа и слева.

Инок и поехал в Россию, чтобы провести все это в жизнь. Он поселился в Питере, наладил там работу цекистской пятерки…»

Еще на августовском Пленуме ЦК в 1908 году по настоянию В. И. Ленина и в противовес ликвидаторскому предложению меньшевиков заменить ЦК информационным бюро была создана так называемая «русская пятерка». Это был суженный состав ЦК, ведущий работу непосредственно в России.

Дубровинский решился на эту поездку, хотя она и угрожала ему новым арестом, так как меньшевики-ликвидаторы саботировали работу «пятерки» и нужно было немедля оказать помощь Питерской организации большевиков, Питерскому комитету, все время меняющему свой состав из-за частых арестов.

Дубровинский сумел наладить работу «пятерки» и был самым ее активным членом. Осуществляя связь Петербургского комитета с Лениным, с заграничным большевистским центром, Дубровинский в октябре 1908 года писал:

«Фреям, личное…

…Задерживаюсь единственно из-за махистско-отозванской напасти. Положение: комитет (преимущественно рабочие) на позиции „Пролетария“, но им трудно противостоять спевшейся банде из профессионалов-пропагандистов (численность ничтожна), бряцающих „лозунгами“ и шмыгающих по районам за голосами. Приходится ежечасно отражать наскоки, требование „дискуссии“ и бесшабашное вранье… Если мы на ближайшей же конференции не одержим решительной победы над крикунами, трудно спасти передовых рабочих-беков [большевиков] от разочарования в большевизме…» Обстановка, таким образом, сложилась в столице трудная. А ведь примерно так же дело обстояло и в Москве и в южных комитетах. Их еще предстояло

объехать, наладить работу.

Письмо Дубровинского «Фреям» – Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне – начинается не с описания обстановки в Петербургской организации, а с отчета о состоянии здоровья Иосифа Федоровича.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна были не на шутку встревожены болезнью Дубровинского.

Когда Иосиф Федорович приехал к ним в Париж, Ильич настаивал на том, чтобы Дубровинский немедля отправился к врачу.

Но Иосиф Федорович этот поход отложил до лучших времен.

Надежда Константиновна, видя, каким неустроенным бытом живет Инок, предложила ему обедать у них.

Анна Адольфовна по этому поводу пишет: «Приехав в Париж, он согласился обедать у Крупской лишь в том случае, если Надежда Константиновна будет брать с него плату. „Обедаю у Надежды Константиновны, дешево (15 франков) и хорошо. Подозреваю, что надувает. Да не поймаешь ее – хитра“».

Приехав в Россию, Дубровинский, помня наставление Ильича, показался врачу. И в этом же письме сообщил Ленину и Крупской:

«…Итоги врачебного исследования: на границе острого процесса, „финал“ в случае какого-нибудь заболевания – бронхита, инфлюэнцы и т. п.; ежели этого не будет, излечим вполне при условиях: Давос, питание, туберкулин…»

Понятно, что такой диагноз не мог успокоить Ленина, тем более что Иосиф Федорович писал не из Давоса – горного курорта Швейцарии, – а из сырого, промозглого Петербурга, где он снова питался кое-как и в любой момент мог подхватить тот же бронхит.

По заданию Ленина Дубровинский занимался, так сказать, контрразведкой в стане жандармов и охранников. И ему удалось выявить немало провокаторов, платных агентов департамента полиции, окопавшихся во Франции.

Но и департамент был неплохо осведомлен о намерениях социал-демократов.

Еще в конце августа 1908 года после Пленума ЦК, потребовавшего ускорить созыв партийной конференции, заграничная агентура донесла:

«После этих решений Иннокентий выехал в Россию для подготовительных работ по вышеупомянутой всероссийской конференции. Приметы Иннокентия (он же Дубровинский): лет 35, среднего роста, с сильно пробивающейся лысиной, лоб высокий, глаза серые, узкие, нос тонкий, длинноватый, усы густые, беспорядочные, бороду не носит…»

Его выдал провокатор. В охранке он числился под кличкой «Ворона».

Арестовали на перроне Варшавского вокзала, когда Иосиф Федорович уже садился в поезд, чтобы уехать за границу. Это случилось 29 ноября 1908 года.

И в том, что его арестовали, нет ничего удивительного. Удивительно то, что охранка, контролируя каждый шаг Дубровинского с начала ноября, предоставила ему почти месяц вольной жизни.

3 ноября начальник петербургского охранного отделения доносил: «Иннокентий выбыл в Москву для присутствия при выборе делегатов от г. Москвы на общерусскую конференцию».

Охранник был хорошо информирован…

Петербургский дом предварительного заключения. Недолго пробыл в нем Иосиф Федорович. 16 декабря его неожиданно вывели из камеры, провели через двор и втолкнули в полутемное помещение с пылающим горном.

Кузница. Значит, будут надевать кандалы!

Кажется, он все уже испытал. Но кандалы!.. Обычно политических не заковывали. Кандалы для политических – крайняя мера. И на нее пошел департамент полиции, опасаясь, что Дубровинский может убежать на этапе.

Его считали «склонным к побегам», хотя бегать ему из ссылки пока не приходилось.

Сколько боли, унижений пришлось испытать этому человеку! Но ведь Дубровинский готовил себя к такой жизни, знал, что ему не миновать тюрем, ссылок, каторг.

В тюрьме Иосифу Федоровичу объявили, что он высылается в Вологодскую губернию. Вступал в силу старый приговор, ведь Дубровинский «самовольно» вернулся в Россию – до апреля 1910 года.

По всей вероятности, партия ссыльных, в которой был и Дубровинский, не сразу попала в Вологду, как об этом пишет А. Креер. Цецилия Зеликсон-Бобровская свидетельствует:

«В ссылку Дубровинский, как „склонный к побегам“, шел этапом в кандалах, от которых у него на ногах образовались раны. Всю дорогу, рассказывали товарищи, шедшие с ним в этапе, Дубровинский температурил, кашлял, что нисколько не помешало ему вызваться на дерзкие переговоры с начальством вятской пересыльной тюрьмы, где в то время пересыльных политических избивали. Как ни протестовали товарищи против того, чтобы именно Дубровинский вступил в разговоры со зверствующим начальником пересылки, – ничто не помогло. Дубровинский настоял на своем, и совершенно неожиданно эту

партию пересыльных не только не избили, но начальство было как-то даже особенно корректно с Дубровинским».

Зеликсон-Бобровская не могла ошибиться. Иосиф Федорович всего лишь один раз был закован в кандалы. Именно в эту ссылку.

По-видимому, он попал в Вологду уже из знакомой Вятки. Иначе в поезде он не успел бы так поранить ноги, что пришлось бы почти месяц отлеживаться на частной квартире.

Но оказалось, что Вологда – это только передышка. С Иосифа Федоровича сняли кандалы, а ходить он все равно не мог.

Между тем из департамента полиции пришла телеграмма: «Указанный в отношении деп. пол. от 16 сего января за № 75855 Иосиф Федорович Дубровинский, но имеющимся сведениям, является весьма видным членом Центр. Ком. РСДРП (кличка Иннокентий), и Петербургская организация партии озабочена устройством побега Дубровинского из места ссылки».

И вот опять кандалы, опять этап. В февральскую стужу. Можно только удивляться и восхищаться выдержкой Иосифа Федоровича. И более сильные, совершенно здоровые люди на таких этапах падали и не могли идти дальше.

А он шел, скользил, падал. Он даже спешил, как будто зная, что в конце этапа его ждет избавление.

Может быть, Иосифа Федоровича действительно предупредили, что ему организуют побег. И он боялся опоздать, боялся совершенно обессилеть. Ведь и для побега нужны были силы.

Он не дошел до Усть-Сысольска, куда был назначен. Не позволила болезнь. Его оставили отбывать срок ссылки в Сольвычегодске.

На выручку Дубровинского из Петербурга выехала Людмила Менжинская, большой друг Иосифа Федоровича. Департамент полиции был осведомлен и о ее поездке:

«…Вчера выехала в Вологду без наблюдения для свидания с Дубровинский Людмила Рудольфовна Менжинская; ее приметы: 32 года, темная шатенка, среднего роста, плотная, лицо полное, круглое, одета: меховая шляпа вроде панамы, плюшевый жакет с меховым воротником, синяя юбка, меховая муфта».

Есть разночтения относительно маршрута Людмилы Рудольфовны. Большинство биографов Дубровинского считают, что Людмила Рудольфовна, не застав в Вологде Иосифа Федоровича, сделала вид, что возвращается обратно в Петербург. Во всяком случае, департамент полиции получил такое сообщение от вологодских жандармов.

Между тем Людмила Рудольфовна ночью пересела в Череповце на владивостокский экспресс и через Вятку или Пермь

добралась до Котласа. Котлас – это 18 верст от Сольвычегодска и конечный пункт железной дороги. В то время железнодорожного пути между Вологдой и Сольвычегодском не было, значит, Менжинская не могла ночью вернуться в Вологду и пересесть на поезд, идущий на Котлас. Но в конце концов не суть важно проследить путь Людмилы Рудольфовны, важен итог… А в итоге Менжинская сумела передать Иосифу Федоровичу и деньги и билет на поезд. И у Дубровинского достало сил сесть в вагон, добраться до границы, нелегально перейти через нее. И появиться в Париже, на знакомой улице, в знакомой квартире Ульяновых.

«…Ильич очень обрадовался приезду Инока. Оба они торжествовали, что Плеханов стал отмежевываться очень решительно от ликвидаторов. Ильич и Инок надеялись еще, что возможна будет с Плехановым совместная работа. Более молодое поколение не испытывало к Плеханову того чувства, как старшее поколение марксистов, в жизни которых Плеханов сыграл решающую роль.

Борьбу на философском фронте Ильич и Инок принимали близко к сердцу. Для них обоих философия была орудием борьбы, была органически связана с вопросом расценки всех явлений с точки зрения диалектического материализма, с вопросами практической борьбы по всем линиям… Намечалось расширенное заседание редакции „Пролетария“, где предполагалось окончательно размежеваться также с отзовистами».

Дубровинский немного поправился, окруженный вниманием и заботами Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Но все же он был еще очень слаб. Иосиф Федорович едва ходил. «Ильич поехал посоветоваться к французскому профессору Дюбуше», но тот его успокоил. И все же раны долго не заживали. И Ленин настоял на том, чтобы Иосиф Федорович отправился на швейцарский курорт в Давос. На сей раз Дубровинский протестовал, но слабо. Он убедился, что его болезнь доставляет, помимо всего прочего, много тревог и забот Ленину и Крупской. А он дорожил и временем и спокойствием Ильича.

«Ильич буквально заставил Иннокентия отправиться в санаторий, – вспоминает Анна Адольфовна. – Но Дубровинскому не сидится там, и он уверяет в письме, что поправился, и весьма значительно, хоть и вынужден признаться, что зарубцевания не последовало».

Надежда Константиновна на все просьбы Инока о том, что ему пора возвращаться, работать, отвечает одно:

«Вам необходимо привести себя в работоспособное состояние, и теперь как раз самое подходящее время… Даю слово, если будет действительная надобность в вашем присутствии, напишу

вам немедля».

Нетрудно понять, с каким настроением каждое утро просыпался, гулял окруженный прекрасными и все же чужими горами Иосиф Федорович.

В Париже Ленин готовится дать решительное сражение отзовистам, ультиматистам и прочим дезорганизаторам, очистить партию от ренегатов.

В далекой России дочки. Старшая готовится уже пойти в школу, сама читает.

Он пишет из Давоса дочерям нежные, ласковые письма. Но за ласковыми словами грусть.

«Дорогие Таля и Вера! Вот беда – никак не могу приехать к вам. Болен и надо лечиться… Дня через три вышлю вам книжки для чтения, постараюсь выбрать поинтереснее. Не знаю, жаль, в какие игры любите играть… Сам приеду еще не скоро… Пройдет зима, лето и еще одна зима…»

Между Лениным и Дубровинский все время, пока Иосиф Федорович находился в санатории, шла оживленная переписка. Владимир Ильич держал Дубровинского в курсе всего хода подготовки расширенного совещания редакции «Пролетария». И в каждом письме обязательно напоминал, что главной сейчас заботой Иосифа Федоровича должно быть лечение. 23 апреля 1909 года он пишет:

«Лечитесь серьезно, слушайтесь докторов во всем, чтобы успеть хоть до Пленума чуточку оправиться. *Пожалуйста,* бросьте мысль об удирании из санатория: у нас безлюдье полное, и если Вы себя не выправите (а это не легко, не делайте себе иллюзий, для этого надо *серьезно* лечиться!), то мы можем погибнуть».[7]

Через шесть дней, 29 апреля, Владимир Ильич снова пишет Дубровинскому:

«Дорогой друг! Получил сегодня Ваше письмо. Ни в каком случае не бросайте санатория. *Ни в каком случае* не переезжайте в отель. До plenum'a Вам необходимо *серьезно* выправиться, а это неосуществимо иначе как в санатории. Мы здесь страшно изнервничались в борьбе с этой глупой мелкой подпольной и гаденькой склокой… Ну, наплевать! Но Вы нужны вполне здоровым ко времени собрания и поэтому лечитесь серьезно и *отнюдь не покидайте* санатория».[8]

Может быть, никогда так ярко, так полно не проявилось понимание Дубровинский организационных и теоретических основ партии, и, наверное, никогда раньше он так бескомпромиссно не отстаивал их, как на совещании расширенной редакции «Пролетария».

Это совещание было важным событием в истории

большевизма. Оно осудило отзовизм – ультиматизм, полностью раскрыло всю неприглядную картину антипартийной возни отзовистов, их дезорганизаторскую деятельность.

Совещание также дало по рукам тем, кто пытался ревизовать марксизм, подменить его махизмом, богостроительными худосочными теорийками.

Дубровинский сделал на этом совещании доклад «Задачи большевиков в партии».

Мягкий, чуткий, всегда старающийся поступить так, чтобы не обидеть, не задеть товарища, друга, на заседаниях Иосиф Федорович попросту был неузнаваем. Он выступал резко, протестовал против неясных формулировок, расплывчатых словопрений.

На совещание съехались члены большевистского центра: Ленин, Дубровинский, Таратута, Гольденберг, Богданов, Шанцер.

От Московской партийной областной организации – Шулятиков, от Петербурга – Томский; Уфимский, Пермский, Миньярский и Златоустинский комитеты были представлены Скрыпником. На совещании была и секретарь большевистского центра Н. К. Крупская.

Немного позже подъехал член Государственной думы Н. Г. Полетаев.

Повестка дня была очень насыщенной: об отзовизме и ультиматизме; о богостроительных тенденциях в социал-демократической среде; об отношении к думской деятельности в ряде других отраслей партийной работы; задачи большевиков в партии; о Каприйской партийной школе.

По всем вопросам повестки заседаний, которые длились с 8 по 17 июня 1909 года, Дубровинский поддержал ленинские резолюции.

В докладе «Задачи большевиков в партии» Дубровинский твердо заявил: «На каждом крыле партии идет размежевка, в каждом крыле есть свои Mitlaufer'ы (попутчики. – *В. П.),* свои немарксисты. Большевики должны первые открыто и честно констатировать происшедший в их рядах раскол и разорвать те гнилые веревки, которые пока связывают нашу фракцию».

И «веревки» были разорваны. Отзовистов исключили из большевистской организации. Был исключен и Богданов.

Богданов, Луначарский и группа ультиматистов и богостроителей создала на острове Капри под видом партийной школы фракционный центр, ведущий борьбу с большевиками. Совещание осудило эту школу, этот фракционный центр.

Руководители Каприйской школы, зная, каким огромным авторитетом среди рабочих пользуется Инок, всячески

заманивали его к себе в качестве лектора.

Но Дубровинский ответил резким отказом.

Каприйская школа вскоре развалилась.

Среди слушателей произошел раскол. Разобравшись в существе отзовизма – ультиматизма, И. И. Панкратов, Н. У. Устинов, Н. Н. Козырев, В. Е. Люшвин и Н. Е. Вилонов обратились к Ленину с просьбой прочитать им лекции на актуальные темы.

Один из бывших учеников Каприйской школы, приехавший в числе пяти своих сотоварищей к Ленину, – И. И. Панкратов, вспоминает:

«Хотя в группе было всего пять человек, Ленин уделял начавшимся занятиям большое внимание. Мы учились больше месяца. Лекции читали И. Ф. Дубровинский, П. А. Семашко, А. И. Любимов (Марк) и др.».

Насколько острой была в это время борьба, как трудно было Ленину, свидетельствует Крупская:

«В 1910 г. шла борьба за самое существование партии, за влияние через партию на рабочие массы… Борьба за партию, однако, у ряда товарищей перерастала в примиренчество, упускавшее из виду цель объединения и соскальзывавшее на обывательское стремление объединить всех и вся, невзирая на то, кто за что боролся. Даже Иннокентий, стоявший целиком на точке зрения Ильича, считавший, что основное – это объединение с меньшевиками-партийцами, с плехановцами, увлеченный страстным желанием добиться сохранения партии, соскальзывал на примиренческую точку зрения».

Это «даже Иннокентий» знаменательно. Даже Дубровинский, может быть очень близкий к Ильичу член ЦК, не мог всегда точно удерживаться в правильном русле партийной борьбы. Но это «даже» говорит о неизменной вере в Инока.

А к тому же Ленин обладал редчайшей способностью: «…он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид и интересы дела умел ставить выше всего. Пусть Плеханов ругал его ругательски, по, если с точки зрения дела важно было с ним объединиться, Ильич на это шел. Пусть Алексинский с дракой врывался на заседания группы, всячески безобразил, но, если он понял, что надо работать вовсю в „Правде“, пойти против ликвидаторов, стоять за партию, Ильич искренне этому радовался. Таких примеров можно привести десятки, – писала впоследствии Крупская. – Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивал свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти к вчерашнему противнику, как к товарищу. И для этого ему не нужно было

делать никаких усилий над собой. И в этом была громадная сила Ильича».

Дубровинский не был «противником», он просто заблуждался. И заблуждался недолго. К тому же перед ним «вставали новые задачи» – снова партия нуждалась в таких, как он, практиках, умудренных организаторах. Они нужны были не здесь, за границей, а там, в России. Там полно дел в Русском бюро ЦК.

Глава X

Много есть способов нелегального перехода границы.

И на границе всегда найдутся люди, которые помогут это сделать.

Дубровинскому уже приходилось пользоваться их услугами. И теперь, в мае 1910-го, они помогли ему очутиться в России.

Но как бы конспиративно ни был обставлен этот переход, о появлении Иосифа Федоровича в пределах Российской империи департамент полиции знал заранее.

А Дубровинский, да и остальные эмигранты не знали, что Житомирский, так деятельно участвовавший во всех партийных мероприятиях еще со времен «Искры», был тайным агентом охранки. Он сообщил полиции о возвращении Иосифа Федоровича в Россию. Полиции оставалось только отыскать Дубровинского.

Но и эти поиски ей облегчили. По всей вероятности, Дубровинский сначала приехал в Петербург, чтобы установить связь с членами Русского бюро ЦК. Об этом сразу же стало известно депутату IV Думы Малиновскому. А Малиновский, так же как и Житомирский, верой и правдой служил полиции.

Уже с первых чисел июня охранка не спускала глаз с Иосифа Федоровича, обнаружив его в Москве.

А 11 июня 1910 года он был арестован прямо на улице.

Если бы полиция следовала точно букве закона, то Дубровинский должен был быть возвращен в вологодскую ссылку, из которой так ловко убежал.

Конечно, за побег ему полагалось набавить сроки.

Но жандармы знали, что вологодская ссылка для таких, как Дубровинский, не препятствие к побегу. Сошлют, а глядишь, через месяц-другой снова сбежал…

Видимо, этим и объясняется предложение начальника Московского жандармского управления, которое он изложил в своем донесении департаменту полиции:

«Явилось бы весьма желательным, если не представится возможность, привлечь Иосифа Дубровинского к формальному в порядке статьи 1035 устава уголовного судопроизводства дознанию, возбудить о нем переписку на основании Положения о государственной охране на предмет высылки не в Вологодскую губернию, куда подлежит он водворению, а в отдаленнейшие места Сибири, как весьма опасного и вредного фанатика-революционера, пребывание коего в рядах представителей революционных организаций Европейской России и за границей

недопустимо».

Бюрократической волокиты не было. Дубровинского сослали в Туруханский край на четыре года.

Бутырская тюрьма. Этап в арестантском вагоне. Долгий путь до Красноярска. От этого города две тысячи верст вниз по Енисею на станок Баишенский…

Крохотная изба. Старый дед, хозяин, и товарищ по несчастью, политический ссыльный Филипп Захаров…

Прошла зима. Иосиф Федорович втянулся в нелегкий быт маленькой деревушки. Он вошел в нелегальную организацию ссыльных Енисейской губернии «Союз ссыльных Туруханского края».

Иногда удавалось побывать на других станках и даже в селе Монастырском – столице ссылки. Ссыльные старались не отставать от жизни, от политической борьбы, бушевавшей за тысячи и тысячи верст от них.

Дубровинский выступал с докладами, рефератами.

Не часто приходили письма, посылки с книгами. Но когда они приходили, то они поддерживали, не позволяли впасть в уныние.

Департамент полиции тоже не забывал Дубровинского. Особый отдел департамента запрашивал начальника Енисейского жандармского управления:

«…находится ли в настоящее время на водворении в ссылке курский мещанин Иосиф Федорович Дубровинский, так как, по поступившим сведениям, названный Дубровинский бежал из ссылки и ныне находится за границей».

Но Дубровинский не бежал. Не мог бежать. Губительный климат Туруханского края обострил болезнь. О побеге в таком состоянии нечего было и думать.

Иосиф Федорович много читал. И с каждой почтой слал письма.

«Дорогие Таля и Верочка!

Теперь и у нас лето. Енисей около 20 мая очистился ото льда. Воды много-много; затопило большое пространство леса, и мы плаваем на лодках там, где зимой бегали на лыжах. Теперь начинается рыболовство. Поэтому жить лучше: едим осетрину, а на самый худой конец – налимов.

Зимой плохо, потому что мясо (оленину) здесь достать можно только изредка.

Жалко, погода скверная: дожди часто, а еще чаще ветры. Летом здесь главная беда – мошкара. Из-за нее нельзя ни гулять, ни работать в лесу. Окна все время (до августа) наглухо затянуты материей; спать приходится под пологом.

На воде легче; необходимо только закрыть всю голову сеткой (как дамской вуалью) и быть в рукавичках.

Читать летом уже не приходится. Это не беда, зима-то ведь длинная-предлинная.

Напишите, как живете.

Крепко целую.

Папа».

Так прошел еще год.

В начале 1913-го Дубровинский узнал, что по случаю 300-летия царствующего дома Романовых объявлена амнистия и ему па год сокращен срок ссылки.

Кончилась и эта зима. И ушла куда-то ночь. И снова, как в прошлые годы, слепит уже надоевшее солнце. В неверных отсветах полярной ночи старая, похилившаяся часовня с прогнившим деревянным крестом, бог весть как зацепившимся за ее макушку, напоминала о вечности и смерти.

Теперь, днем, высвеченная ярким солнцем, она только гнилушка. Замшелая, трухлявая и забытая богом, как, впрочем, и все в этом краю.

Зимой горбатые хатенки проклевывались сквозь снежные наметы чернотой крыш и труб. А теперь они стоят раздетые, в неопрятном неглиже серо-зеленых бревен, скособочившихся крылечек и щурятся на солнце подслеповатыми щелочками редких окон.

Но зимой, в ночи, не видно, сколько здесь хат. Весной кажется, что выросли новые.

Нет, все тот же десяток домишек. И тот же край обжитого пятачка упирается в лес. В лесных укромина х ноздреватый, почерневший снег упрямо жмется в тень разлапистых елей. И не хочет таять. Он дождется летних дождей, и они смоют его с насиженных мест. Но лес так и не просохнет до следующий зимы.

И только на опушке, перебивая запахи тлена, невысокая трава да скромное соцветие вереска, брусники чуть напомнят о дурмане сенных просторов далекой России.

Часы показывают, что наступила ночь. Но это условное обозначение времени. Солнце, если и заходит, все равно светло. А через несколько дней оно будет только чуть-чуть приседать к горизонту. Заглянет за край земли и снова полезет на крутой небесный склон.

Появилась мошкара. Она не знает устали, и от нее нет спасения ни днем, ни «ночью». Теперь уже до августа лучше не ходить в лес: ни сетка, ни рукавицы не уберегут от полчищ кровопийц.

На воде легче. В середине мая Енисей очистился ото льда, но

еще не вошел в привычное русло. «Снежница» затопила лес па противоположном низком берегу. Течение сильное, и река вскипает, кружится в водоворотах. Не дай бог сейчас оказаться в воде – холодно, судороги схватят ноги, руки, и нет спасения.

Даже местные рыбаки на середину выходят только партиями, по три-четыре лодки вместе. Утлые суденышки жмутся друг к другу, сообща преодолевают водовороты. Дней через 5 – 10 река опадет.

Но ни у кого уже нет мочи ждать.

Люто наголодался народ за долгую зиму. И теперь риск не в счет. В Енисее полно налимов, судаков, окуней, да и осетры не редкость.

Дед Прокопий уже стар, но тоже ушел на реку.

Филипп Захаров пытается уснуть. Куда там! Мошкара и солнце отгоняют сон. Филипп время от времени вскакивает, ошалело поводит налитыми кровью и сонной мутью глазами. Ругается так страшно, что кажется – вот схватит ружье и начнет палить в светило. Или грянет об пол и будет кататься и выть, выть тоскливо, тоскливо, как воют псы, сатанеющие от «поцелуев» гнуса.

Дубровинский пытается читать. Но это самообман. Строчки прыгают перед натруженными, усталыми глазами. Мошкара забралась под вуаль, нестерпимо хочется сорвать сетку и чесать, чесать нос, щеки, уши, лоб. И выть. Чем он хуже Филиппа?

До окончания ссылки осталось пять месяцев. Они будут тянуться нескончаемо. В октябре он уедет отсюда. К этому времени станет Енисей. По льду легче добраться до Туруханска. А дальше не хочется и загадывать… Значит, нужно собрать все силы, всю волю и скоротать лето и осень. Это не так-то просто. В этом, 1913-м ему не придется ставить дрова, запасаться соленой и вяленой рыбой – разве что на дорогу.

Но без работы пропадешь. А за работой время идет быстрее. И отступят горькие мысли, совсем было одолевшие его минувшей зимой.

Дед Прокопий уже стар. Он ему и поможет, если, конечно, хватит сил. Да с ребятишками нужно подзаняться. Кто-то еще продолжит с ними уроки будущей зимой?

Но сколько ни придумывал для себя дел Иосиф Федорович, они не могли отвлечь его от тяжелых дум, от тоски.

Зима была такой трудной, так подорвала силы и подточила душу, что он уже не может соскоблить с себя коросту хандры.

Давно нет писем. А ведь он знает, что ему пишут, что его не забыли. Вот только не пробиться почте, пока бурлит Енисей, пока весна растопила дороги. Но попробуй прикажи сердцу! Тоска!..

Вверх к Туруханску силится проплыть пароход. Вверх еще ничего. Только медленно. А вниз пароходы пока еще не идут – течение.

Пароходный гудок долго перекатывается эхом, и почему-то от этого унылого, тоскливого воя сгущается пустота, одиночество, безлюдье.

Филипп Захаров выскочил из избы и опрометью кинулся к берегу. Но не добежал, скинул сетку и вцепился ногтями в давно небритую щеку.

Дубровинский предложил погулять. Только молча. Рядом будет человек, и, может быть, отступится тоскливое чувство одиночества.

Они часто и не сговариваясь гуляли одним маршрутом. Берегом реки до каменного мыса. Полторы версты туда, полторы обратно. На мысу можно и посидеть. Здесь всегда ветрено, сыро, и мошкара сюда не суется.

И вечером 19 мая 1913 года, как обычно, Дубровинский и Захаров прошли к мысу. Захаров вскоре вернулся. Дубровинский остался у воды.

Больше его не видели…

Может быть, и не нужно вновь ворошить документы, слухи, даже сплетни о загадочной смерти Иосифа Федоровича (его труп только 27 июня выловили мироединские рыбаки).

Но ведь долгое время и среди тех, кто знал Дубровинского, боролся бок о бок с ним, и в литературе бытовало мнение, что Иосиф Федорович покончил жизнь самоубийством.

Не верится.

Пусть тоска точила душу, пусть болезнь истачивала легкие – он был боец! Пусть до него не доходили известия о новом революционном подъеме в России – он был боец!

И поэтому хочется верить Евгению Трифонову, который писал жене Дубровинского:

> «Анна Адольфовна!
>
> Могу сообщить очень немного подробностей о смерти Иосифа Федоровича. В ночь на 20 мая – в Туруханском крае ночи в это время не бывает – Иосиф Федорович сел в лодку и выехал на реку; была волна. Иосиф Федорович с лодкой не справился, и ее перевернуло; пока с берега, заметив несчастье, выехали, Иосиф Федорович скрылся под водой; река в этом месте имеет 5 верст ширины, о поисках нечего было и думать; только 27 июня нашли тело Иосифа Федоровича. Вот и все известные мне подробности…

Евгений Трифонов».

Конечно, очутившись в воде, в сумятице водоворотов и волн, Дубровинский не смог выплыть, хотя и хорошо плавал, – здесь и лучший, чем он, пловец был бы бессилен. В мае вода в Енисее ледяная, судорога тут же сковывает тело.

Но Евгений Трифонов не был свидетелем трагедии. И неизвестно, из каких источников почерпнул он свои сведения.

Последним, кто видел Дубровинского, был Филипп Захаров, его друг и сожитель по избе.

Его допросил местный надзиратель. И вот донесение енисейского губернатора Селиванова:

«Туруханский Отдельный пристав рапортом от 4-го сего июня за № 256 донес мне, что административно-ссыльный станка Баишенского Иосиф Федоров Дубровинский, за последнее время страдавший меланхолией, вечером 19 мая отправился гулять с товарищем своим Филиппом Захаровым, жившим с ним на одной квартире. Отойдя версты 1 1/2 от станка вниз по р. Енисею, Дубровинский сел на обрыв берега и попросил Захарова оставить его одного, что последний и исполнил; но, возвратясь приблизительно через час, не нашел уже Дубровинского ни на берегу, где он остался сидеть, ни в окрестностях этой местности, о чем Захаров и заявил местному надзирателю.

Осмотром местности обнаружен отпечаток следов Дубровинского на камне, выдававшемся над водой, вследствие чего является предположение, что названный поднадзорный или нечаянно упал с камня в воду и утонул, или же покончил с собою умышленно. Предполагать побег нет оснований, так как Дубровинскому до окончания срока ссылки оставалось всего 4 1/2 месяца, пароходы прошли до исчезновения Дубровинского, и не обнаружено исчезновения ни одной лодки, на которой, за неимением иных путей, он мог бы скрыться.

Принятыми мерами трупа Дубровинского пока не обнаружено, но возможно, что таковой будет найден на спаде воды.

Произведенное по сему делу дознание Отдельным приставом, на основании 253 ст. Уст. Угол. Судопроиз., направлено товарищу прокурора по Енисейск, уезду на прекращение».

Два диаметрально противоположных документа. Евгений Трифонов утверждает, что произошел несчастный случай. Пристав говорит о самоубийстве и даже выдвигает причину – «страдал меланхолией».

И в том и в другом документе есть места неясные. Евгений Трифонов говорит о лодке, в которой якобы плыл Дубровинский,

пристав же утверждает, что «не обнаружено исчезновения ни одной лодки».

Трифонов утверждает, что с берега заметили, как тонул Дубровинский, между тем Захаров говорит, что Дубровинский исчез и, видимо, он, Захаров, был последним, кто его видел, но не в лодке, а на берегу.

Трифонов писал Анне Адольфовне уже после того, как был найден труп Дубровинского. Пристав подал рапорт через две недели после гибели Иосифа Федоровича.

В Туруханском крае, видимо, стараниями надзирателей и стражников утвердилось убеждение, что Дубровинский покончил с собой.

На этом можно было бы и закончить. Но нам хочется процитировать несколько страниц из воспоминаний недавно умершего старого большевика – Бориса Ивановича Иванова. Это воспоминания о туруханской ссылке. Иванов их озаглавил: «Страна черных дней и белых ночей».

В воспоминаниях имеется глава: «Загадочная смерть Иннокентия Дубровинского». То, что Борис Иванович называет Иосифа Федоровича Иннокентием, вполне объяснимо. Он знал его под этой кличкой. Борис Иванович попал в ссылку в 1915 году, через два года после смерти Дубровинского.

И вот что он пишет:

«Я и стражник вновь плывем по Енисею. Конца пути пока не видно.

Осенний день короток. Енисей все чаще становится неспокойным, дуют северные ветры. После Верхнеимбатского проехали малонаселенные станки… В своем большинстве то были деревеньки в четыре-пять домов, в них проживали по нескольку рыбаков и охотников.

И лишь в Баишенском оказался один ссыльнопоселенец, социал-демократ большевик Илья Шер.

Но мы, не останавливаясь, проехали мимо этого станка в деревню Забобурино.

Мой конвоир неприязненно отнесся к этому населенному пункту с десятком его домов, стоявших на возвышенном берегу Енисея. Он мне рассказывал дорогой, что за последние два года здесь покончил самоубийством ссыльный Иннокентий Дубровинский, он утопился в Енисее, после него застрелился ссыльный Вольфсон на станке Черноостровском. Смерть Якова Вольфсона не причинила особого беспокойства местной полиции, по отзыву моего конвоира – „это был не очень важный политик“.

В понятии стражников, как я понял, „важными“ политиками были те, к которым были прикреплены персонально постоянные

стражники, которые ежедневно являлись к своим подопечным и заставляли их расписываться в книге в знак тою, что они на месте и никуда не убежали.

Такой „политик“ для стражника был постоянным объектом беспокойства и заботы, так как в случае его побега стражника могли выгнать со службы, а то и отдать под суд. Но вместе с тем такие люди пользовались у полиции большим уважением, чем ссыльные уголовники, а покончившего самоубийством Дубровинского стражник Степаныч из Забобурина называл птицей не простой, а вроде „министра из политиков“…

Самоубийство двух ссыльных принесло много хлопот и стражнику, которому пришлось выезжать на следствие не только сюда, но и на другие станки края.

Забобурино было безлюдным. Небольшая, почерневшая от времени часовня с покосившимся, таким же ветхим от времени крестом была видна на фоне окруженного лесом селения. Осенний ветер гнал по улице мимо маленьких избушек клочки сена и всякий мусор.

По рассказам ссыльных, проезжавших Забобурино в 1913–1914 годах, здесь жили политические ссыльные – Трошин, Ной Гендлин, Коган, Дубровинский и Филипп Захаров. Но когда наша лодка пристала к берегу, в деревне не оказалось политических ссыльных. Возможно, что они уехали на рыбную ловлю или были переведены в другую деревню.

Нашу лодку на берегу встретил стражник, которого мой конвоир называл Степанычем. Поздоровавшись с ним, Степаныч спросил конвоира, указывая на меня, кто я такой, откуда еду и куда меня везут. Не дожидаясь ответа, он, усмехнувшись, сказал: „Наверное, политик, а значит, принадлежит к компании Свердлова и Спандаряна…“ Сказав это, он с конвоиром стал подниматься на берег, за ними шел я, за мной – два гребца с собаками.

Через минуту, обращаясь к моему конвоиру, Степаныч проговорил: „В Монастырское направляют наиболее опасных политиков, но там нет квартир для жилья. Правда, Монастырское – надежное место, оттуда не убежишь, там много стражников, которым нечего делать, кроме как ходить по пятам за политиками“.

Тут мы вошли в деревню, Степаныч указал мне избу, где жил до своей смерти с Филиппом Захаровым Иннокентий Дубровинский.

На ночлег я устроился в избе деда Гаврилы, как звали семидесятилетнего старика чалдона, который в этот раз был единственным мужиком в деревне, все остальные мужики и

женщины находились на „неводье“ рыбы.

Отдохнув, я вышел на улицу, подошел к дому, где когда-то жил Дубровинский. На ступенях небольшого крыльца этого дома играли два мальчика, раскладывая красивые кедровые шишки.

Появление чужого человека возбудило любопытство мальчуганов. Поздоровавшись с ними, я спросил, не знают ли они, кто хозяин дома и кто из ссыльных здесь живет и жил раньше?

Один из них на мой вопрос ответил:

„Это изба деда Прокопия, сейчас политиков-ссыльных у него нет, а жил до этого дядя Иннокентий. Он, язви его, потонул в Енисее, а Прокопий сейчас на неводье“.

Эти слова сказаны были тихо и с чувством тоски. Я рискнул спросить малыша: „Какой был на вид Дубровинский и дружил ли с вами, ребятами?“ – „Он был хороший, давал нам книжки с картинками“, – ответил мальчик.

Второй мальчуган, перебивая первого, вступил в разговор: „Он был на вид такой чернявый. Нам он давал сахар. А сколько было у него книг!.. Мало спал. Все читает и читает, а иногда выйдет на берег Енисея, ходит с книжкой, держит ее в руке, не глядит на нее, а все бормочет, бормочет непонятные слова…“

Сказав это, малый умолк. По лицам детей была заметна воскресшая память о дяде Иннокентии, который любил детей и занимался с ними.

Их молчание я нарушил еще одним вопросом: „Где, около какого места он упал в реку?“

Оба малыша, осмелев, заявили, что он упал с Каменного мыса, „вон в той стороне“. И руки мальчиков указывали на берег Енисея.

Минут через десять в сопровождении этих мальчуганов я пришел на то место, откуда упал в Енисей Иннокентий Дубровинский.

Это было в полутора верстах от деревни, где по берегу шумела дикая тайга, а берег был завален камнем. Я забрался на высокий скалистый каменный утес, у основания которого кипел и пенился водоворотами Енисей. С вершины его открывался вид на ширь реки, на стену дремучей тайги, на плывущие низко над тайгой и Енисеем темно-свинцовые тучи.

С тяжелой думой о Дубровинском, трагически погибшем здесь, я вернулся в дом старика Гаврилы. Он поделился воспоминаниями о погибшем Иннокентии. „Это был добрый, тихий, умный человек. Я видел, как он все пишет и пишет. Книг у него было тьма-тьмущая, и на столе, и на скамейках, и на окне. Сидит за книгой днем, сидит ночью. Я понимаю так своим старым

умом, что он писал ихние революционные законы. Одно дивно, как он мог свалиться со скалы и потонуть, он же хорошо плавал, был ловким, сам все делал. Ставил дрова, готовил еду, стирал белье…“ Старик умолк. На морщинистом лице его застыла тяжелая дума.

За окном избы наступала ночь, завывал тоскливо ветер. Гаврила встал из-за стола, его левая рука теребила седую-седую бороду, и свои воспоминания о Дубровинском он кончил словами: „Мироединские рыбаки выловили его мертвого, утопшего и распухшего, похоронили его без попа за околицей деревни…“; „Только одно плохо, там, где его зарыли, нет креста, нет знака памятного, что он зарыт именно здесь“.

Садясь обратно в лодку, уезжая из деревни, в моем сознании шевелилась мысль о том, что нам, товарищам Иннокентия, надо подумать о том, чтобы не затерялась его одинокая могила на берегу Енисея, у станка Мироедиха.

Официальная версия полиции о причинах смерти Иннокентия говорила, что он покончил самоубийством. Но на станке имелись люди, которые подозревали в смерти Дубровинского одного из уголовных, якобы убившего его в целях ограбления, сбросившего труп в Енисей. Но эта версия не получила подтверждения».

Нет, он не покончил самоубийством. Измученный болезнью, ослабевший, едва передвигающий ноги, Иосиф Федорович, наверное, просто оступился на камне и упал в воду.

Выплыть он не мог. Помочь было некому, никто не видел его падения.

Через четыре дня после того, как было обнаружено тело Дубровинского, «Рабочая правда» опубликовала статью «Страшная весть».

«Умер Иннокентий. Утонул в ночь с 19 на 20 мая, а до сих пор не удалось сообщить многочисленным друзьям эту страшную весть… Каким ударом будет эта чудовищно неожиданная потеря для многих, многих передовых пролетариев, знавших его или слыхавших о нем.

Иннокентий – это для многих символ какой-то исключительной чистоты, солидного знания марксизма и большого практического ума…»

А «Социал-демократ» 15/28 декабря в № 32 поместил в траурной рамке большой некролог.

«Он знал одной лишь думы власть, Одну, но пламенную страсть…

В лице И. Ф. Дубровинского наша партия потеряла одного из самых выдающихся своих членов, а

пролетариат России – одного из самых преданных работников его дела.

Неустанная, прерываемая только многократной тюрьмой и ссылкой революционная деятельность Иннокентия всюду и везде сделала бы его подлинным вождем рабочих масс. В любой стране его похороны превратились бы в наглядную демонстрацию неразрушимой связи пролетарских масс и идей социализма, носителем которых был Иннокентий. За его гробом должны были идти те тысячи рабочих, которых он сам, своим словом, пером и примером пробудил к сознательной жизни, те сотни тысяч, которым он служил всей своей деятельностью представителя той партии, организатором и руководителем которой он был.

Но он умер в далекой енисейской тундре, и месяцы прошли раньше, чем горькая весть дошла до русских рабочих…

Умер как жил – „подпольщиком“ и „нелегалом“, чистейшим и лучшим образчиком „профессионального революционера“, русского интеллигента, который весь, целиком, без остатка ушел в дело революционной организации и революционного просвещения пролетариата. Он был в первых рядах тех, кто своей работой подготовил и провел первое восстание рабочих масс России против царя и капитала; и тот историк, который в будущем изумится тому грандиозному сдвигу, который пережила Россия за последние 20 лет, среди работников этого переворота разыщет имя Иннокентия. Он найдет его среди той молодежи, которая в начале 90-х годов с жаром изучала марксизм, чтобы найти „алгебру революции“, потом среди организаторов и лекторов первых рабочих кружков центральной России, потом среди организаторов партийных совещаний и съездов, среди членов ее Центрального Комитета и в редакциях ее руководящих органов – найдет его на площадях Москвы и Кронштадта, в толпе рабочих и матросов в дни восстания. Ибо Иннокентий всегда был там, где горячее всего бился пульс народной борьбы. А когда этот пульс затих, когда контрреволюция тяжелым игом легла на страну, когда встал вопрос о самом существовании партии, Иннокентий отдал все свои силы на восстановление сил и организации разбитой армии.

Тяжела была работа первых организаторов рабочего движения в царской России, огромна была работа в дни

революции, но, быть может, труднее и мучительнее всего предшествующего была работа в годы крушения старых надежд, в полосу малодушия и ренегатства. Ближайшим товарищем Иннокентия по работе в эти годы виднее других было, с каким напряжением всех своих сил бился он над решением „проклятых вопросов“ тогдашней партийной действительности. Последняя поездка Иннокентия с ближайшей целью восстановления центрального аппарата партии и привела Иннокентия на берега Енисея…

Да, умер как жил, ни на минуту не поколебленным революционером и социал-демократом, все отдавшим рабочему народу, которому только проклятые условия жизни в России Романовых и Гучковых помешали узнать в умершем товарище одного из своих лучших вождей и руководителей.

Друзья будут оплакивать в нем человека редкой души, партия – выдающегося своего руководителя, пролетариат России – своего передового борца».

Встречая новый, 1906 год, Иосиф Федорович говорил друзьям: «Наш день вернется, и его нужно готовить самим!»

И он готовил. И готовился сам встретить этот новый день новой, на сей раз победоносной революции.

Он этим жил. Не щадил себя. И не дожил.

Но напрасно сокрушался старый дед, что нет на могиле Дубровинского креста.

Иосифа Федоровича не забыли товарищи. Еще в 1916 году красноярские ссыльные, среди которых находился и брат Иосифа – Яков Федорович, перенесли прах Дубровинского в Красноярск и похоронили его на городском кладбище.

А в 1947 году, к 70-летию Иосифа Федоровича, на его могиле был поставлен памятник.

Основные даты жизни и деятельности И. Ф. Дубровинского

1877, 14 августа – Родился в селе Покровском-Липовце Орловской губернии.

1880 – Смерть отца, переезд семьи в г. Курск.

1889 – Поступает в Курское реальное училище.

1893 – Вступает в кружок «саморазвития», которым руководят студенты братья Павловичи.

1895 – Переезд семьи в г. Орел. Организует первый в г. Орле марксистский кружок. Налаживает связи с «Московским рабочим союзом».

1896, весна – Переезжает в Калугу, работает в Земской статистике, создает Калужскую социал-демократическую организацию.

1896, осень – Переезжает в Москву. Становится одним из руководителей «Московского рабочего союза».

1897, 12 декабря – Арестован по делу «Рабочего союза», заключен сначала в Сущевский полицейский дом, потом в Таганскую тюрьму.

1898, октябрь – Выслан на родину до решения министерства юстиции.

1899, июнь – Выслан под гласный надзор полиции в г. Яранск Вятской губернии.

1900 – Женитьба на ссыльной Анне Адольфовне Киселевской.

1902 – Переезд в г. Астрахань до окончания срока ссылки.

1903 – Создает и руководит Астраханским комитетом РСДРП.
1903, лето – Переезд в г. Самару. По заданию В. И. Ленина объезжает социал-демократические комитеты с сообщением о решениях II съезда РСДРП.

1904 – Кооптирован в члены ЦК РСДРП, ведет примиренческую кампанию.

1905, 9 января – Вместе с рабочими идет к Зимнему дворцу, строит первые баррикады.

1905, 9 февраля – Арест на квартире Л. Андреева вместе с остальными членами ЦК. Заключен в Таганскую тюрьму.

1905, 18 октября – Освобожден из Таганской тюрьмы революционным народом.

1905, октябрь – По заданию ЦК руководит восстанием моряков в Кронштадте.

1905, ноябрь – Первая встреча с В. И. Лениным.

1905, декабрь – Член Московского комитета РСДРП,

партийный организатор Симоновской слободы в дни декабрьского восстания.

1906 – Работает в Московском комитете РСДРП, Петербургском – комитете. Участвует в кронштадтском восстании.

1907, 11 марта – Арестован во время собрания членов РСДРП Замоскворецкого района Москвы. Заключен в Лефортовский полицейский дом.

1907, апрель – Освобожден из заключения и выслан за границу. Участвует в последнем дне работы V съезда РСДРП в Лондоне. Избирается членом ЦК РСДРП.

1907 – Уезжает в эмиграцию, в Женеву. Член редакции «Пролетария».

1908, 29 ноября – Арестован в Петербурге. Препровожден в кандалах этапом в Вологодскую губернию, в г. Сольвычегодск.

1909, февраль – Бежит из ссылки при помощи Л. Р. Менжинской.

1909, 8—17 июня – Участвует в заседаниях расширенной редакции «Пролетария». Выступает с докладом.

1909, ноябрь – Вместе с В. И. Лениным читает в Париже лекции для бывших учеников Каприйской школы.

1910, 11 июня – Арестован в Москве. Выслан в Туруханский край на четыре года.

1913, 19 мая – Погиб в туруханской ссылке.

Краткая библиография

Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 11, стр. 44–45, т. 19, стр. 204–205, т. 20, стр. 158–159, 253–255, 259–261, т. 47, стр. 129–130, 136–137, 148, 177, 179, 185, 187–188, 199.

Крупская Н. К., Воспоминания о Ленине. Госполитиздат, 1957.

Государственный Музей Октябрьской революции СССР. Рукописный фонд.

Доклады соц. – дем. комитетов II съезду РСДРП. М.—Л., ГИЗ, 1930.

Александрова Э., Товарищ Иннокентий, «Вопросы и ответы», 1967, № 8.

Андреев В., Товарищ Иннокентий. «Молодая гвардия», 1934. Борчугов П., Пятая конференция РСДРП. М., Госполитиздат, 1955.

Богуцкая Л., Очерки по истории вооруженных восстаний в революции 1905–1907 гг. М., Госполитиздат, 1956.

Вятская политическая ссылка. «Труженик». Вятка, 1925.

Голубков А., На два фронта. Изд-во «Старый большевик», 1933.

Дубровинская А., Чистая жизнь. «Смена», 1946, № 21–22.

Зеликсон Ц., «Правда», 1937, № 126, 9/V.

Зеликсон-Бобровская Ц. С, Иосиф Федорович Дубровинский. Партиздат, 1937.

Зеликсон-Бобровская Ц. С, «Правда», 1957, № 238, 26/VIII.

Их родина Орловский край. Орел, Книжное изд-во, 1962.

Караваев П. Н., В дооктябрьские годы. Госполитиздат, 1953.

Корчевская М., И. Ф. Дубровинский. М., «Ученые записки Московского пединститута имени Ленина», 1953, т. 67, вып. 1.

Корчевская М., Страницы из биографии. «Смена», 1946, № 21–22.

Кортес В., Товарищ Иннокентий. М., Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан, 1930.

Костомаров Г., Московский Совет в 1905 г. М., «Московский рабочий», 1955.

Краткая история рабочего движения в России. М., Госполитиздат, 1962.

Креер А. М., Товарищ Иннокентий. Орел, Книжное изд-во, 1960.

Креер А. М., Иосиф Дубровинский (Иннокентий). М., Госполитиздат, 1962.

Кремнев Б., Красин. М., «Молодая гвардия», 1968. «Красная летопись», № 3(14), 1925.

Лядов М. Н., Из жизни партии в 1903–1907 годах, М., 1965.

Матусевич Л., Казарин А., 1905 год в Курской губернии, Курск, 1941.

Михайлов И. К., Четверть века подпольщика. М., Госполитиздат, 1957.

Мицкевич С.И., Революционная Москва. М., Госполитиздат, 1940.

Мошинский И. Н., Наши подпольщики. М., «Новая Москва», 1925.

«На могилу жертв революции». Сб. МК РКП.

Протоколы Совещания расширенной редакции «Пролетария». Партиздат, 1934.

Рожков Н., Памяти И. Ф. Дубровинского. «Историко-революционный вестник», 1922, № 1(4).

Серебрянский З. Л., И. Ф. Дубровинский (1877–1913). «Революционно-исторический календарь-справочник на 1967 г.». М., Политиздат, 1966.

Слуцкий М. И., Большевики Астрахани в период первой русской революции (1905–1907 гг.). Автореферат. М., МГУ, 1955.

Соколов В. Н., Партбилет № 0046340, ч. I и ч. II. М., изд-во «Старый большевик», 1932.

Сысоев П. С, О деятельности выдающихся профессиональных революционеров в Астрахани на рубеже XIX и XX веков. «Ученые записки», Астраханский пединститут, т. 8, 1959.

Чаборин А., Москва в революцию 1905–1907 годов М., ГосПолитиздат, 1957.

Черненко А. М., И. Ф. Дубровинский – видный профессиональный революционер. «Труды кафедры общественных наук», Львовский государственный университет.

Шумяцкий Я., Туруханка. Очерки из жизни ссыльных Туруханского края (1908–1916 гг.). М., «Московский рабочий», 1925.

notes

Примечания

1

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 7, стр. 125–126.

2

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 9, стр. 252.

3

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 9, стр. 201–202.

4

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 62.

5

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 12, стр. 33.

В. И. Ленин, Полн, собр. соч., т. 18, стр. 5.

7

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 174.

Там же, стр. 177.